

The background of the cover is a dark blue to black gradient. It features a series of concentric circles that resemble ripples or the rings of a lens. On the left side, there is a prominent lens flare effect, with a bright blue and white circular glow and radiating lines. The overall aesthetic is futuristic and technical.

Джордж Оруэлл

1984

Перевод с английского
Виктора Гольшева

ФТМ

Джордж Оруэлл

1984

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=129098
1984: Агентство ФТМ, Лтд.; Москва; 2021
ISBN 978-5-17-080115-2

Аннотация

Одна из самых знаменитых антиутопий XX века – роман «1984» английского писателя Джорджа Оруэлла (1903–1950) был написан в 1948 году и продолжает тему «преданной революции», раскрытую в «Скотном дворе». По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы. Тоталитаризм уничтожает в человеке все духовные потребности, мысли, чувства и сам разум, оставляя лишь постоянный страх и единственный выбор – между молчанием и смертью, и если Старший Брат смотрит на тебя и заявляет, что «дважды два – пять», значит, так и есть.

В книге представлен классический перевод Виктора Гольшерева.

Больше интересных фактов об этой книге читайте в [ЛитРес: Журнале](#)

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Первая | 5 |
| I | 5 |
| II | 27 |
| III | 38 |
| IV | 48 |
| V | 61 |
| VI | 80 |
| VII | 87 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 97 |

Джордж Оруэлл

1984

© Перевод. В. П. Гольшев, 2021

© Агентство ФТМ, Лтд., 2021

Первая

I

Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать. Уткнув подбородок в грудь, чтобы спастись от злого ветра, Уинстон Смит торопливо шмыгнул за стеклянную дверь жилого дома «Победа», но все-таки впустил за собой вихрь зернистой пыли.

В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. Против входа на стене висел цветной плакат, слишком большой для помещения. На плакате было изображено громадное, больше метра в ширину, лицо – лицо человека лет сорока пяти, с густыми черными усами, грубое, но по-мужски привлекательное. Уинстон направился к лестнице. К лифту не стоило и подходить. Он даже в лучшие времена редко работал, а теперь в дневное время электричество вообще отключали. Действовал режим экономии – готовились к Неделе ненависти. Уинстону предстояло одолеть семь маршей; ему шел сороковой год, над щиколоткой у него была варикозная язва; он поднимался медленно и несколько раз останавливался передохнуть. На каждой площадке со стены глядело все то же лицо. Портрет был выполнен так, что, куда бы ты ни стал, глаза тебя не отпускали. СТАРШИЙ БРАТ

СМОТРИТ НА ТЕБЯ, – гласила подпись.

В квартире сочный голос что-то говорил о производстве чугуна, зачитывал цифры. Голос шел из заделанной в правую стену продолговатой металлической пластины, похожей на мутное зеркало. Уинстон повернул ручку, голос ослаб, но речь по-прежнему звучала внятно. Аппарат этот (он назывался телекран) притушить было можно, полностью же выключить – нельзя. Уинстон отошел к окну: невысокий тщедушный человек, он казался еще более щуплым в синем форменном комбинезоне партийца. Волосы у него были совсем светлые, а румяное лицо шелушилось от скверного мыла, тупых лезвий и холода только что кончившейся зимы.

Мир снаружи, за закрытыми окнами, дышал холодом. Ветер закручивал спиралями пыль и обрывки бумаги; и хотя светило солнце, а небо было резко-голубым, все в городе выглядело бесцветным – кроме расклеенных повсюду плакатов. С каждого заметного угла смотрело лицо черноусого. С дома напротив – тоже. **СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ**, – говорила подпись, и темные глаза глядели в глаза Уинстону. Внизу, над тротуаром, трепался на ветру плакат с оторванным углом, то пряча, то открывая единственное слово: **АНГСОЦ**. Вдалеке между крышами скользнул вертолет, завис на мгновение, как трупная муха, и по кривой унесся прочь. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули в счет не шли. В счет шла только полиция мыслей.

За спиной Уинстона голос из телекрана все еще болтал о выплавке чугуна и перевыполнении девятого трехлетнего плана. Телекран работал на прием и на передачу. Он ловил каждое слово, если его произносили не слишком тихим шепотом; мало того, пока Уинстон оставался в поле зрения мутной пластины, он был не только слышен, но и виден. Конечно, никто не знал, наблюдают за ним в данную минуту или нет. Часто ли и по какому расписанию подключается к твоему кабелю полиция мыслей – об этом можно было только гадать. Не исключено, что следили за каждым – и круглые сутки. Во всяком случае, подключиться могли когда угодно. Приходилось жить – и ты жил, по привычке, которая превратилась в инстинкт, – с сознанием того, что каждое твое слово подслушивают и каждое твое движение, пока не погас свет, наблюдают.

Уинстон держался к телекрану спиной. Так безопаснее; хотя – он знал это – спина тоже выдает. В километре от его окна громоздилось над чумазым городом белое здание министерства правды – место его службы. Вот он, со смутным отвращением подумал Уинстон, вот он, Лондон, главный город Взлетной полосы I, третьей по населению провинции государства Океания. Он обратился к детству – попытался вспомнить, всегда ли был таким Лондон. Всегда ли тянулись вдаль эти вереницы обветшалых домов XIX века, подпертых бревнами, с залатанными картоном окнами, лоскутными крышами, пьяными стенками палисадников? И эти прогали-

ны от бомбежек, где вилась алебастровая пыль и кипрей карабкался по грудам обломков; и большие пустыри, где бомбы расчистили место для целой грибной семьи убогих дощатых хибарок, похожих на курятники? Но – без толку, вспомнить он не мог; ничего не осталось от детства, кроме отрывочных, ярко освещенных сцен, лишенных фона и чаще всего невразумительных.

Министерство правды – на новоязе¹ миниправ – разительно отличалось от всего, что лежало вокруг. Это исполинское пирамидальное здание, сияющее белым бетоном, вздымалось, уступ за уступом, на трехсотметровую высоту. Из своего окна Уинстон мог прочесть на белом фасаде написанные элегантным шрифтом три партийных лозунга:

ВОЙНА – ЭТО МИР

СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ – СИЛА

По слухам, министерство правды заключало в себе три тысячи кабинетов над поверхностью земли и соответствующую корневую систему в недрах. В разных концах Лондона стояли лишь три еще здания подобного вида и размеров. Они настолько возвышались над городом, что с крыши жилого дома «Победа» можно было видеть все четыре разом. В них помещались четыре министерства, весь государственный аппарат: министерство правды, ведавшее информацией,

¹ *Новояз* – официальный язык Океании. О структуре его см. Приложение.

образованием, досугом и искусствами; министерство мира, ведавшее войной; министерство любви, ведавшее охраной порядка, и министерство изобилия, отвечавшее за экономику. На новоязе: миниправ, минимир, минилюб и минизо.

Министерство любви внушало страх. В здании отсутствовали окна. Уинстон ни разу не переступал его порога, ни разу не подходил к нему ближе чем на полкилометра. Попасть туда можно было только по официальному делу, да и то преодолев целый лабиринт колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Даже на улицах, ведущих к внешнему кольцу ограждений, патрулировали охранники в черной форме, похожие на горилл и вооруженные суставчатыми дубинками.

Уинстон резко повернулся. Он придал лицу выражение спокойного оптимизма, наиболее уместное перед телекраном, и прошел в другой конец комнаты, к крохотной кухоньке. Покинув в этот час министерство, он пожертвовал обедом в столовой, а дома никакой еды не было – кроме ломтя черного хлеба, который надо было побережь до завтрашнего утра. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой: «Джин Победа». Запах у джина был противный, маслянистый, как у китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с духом и проглотил, точно лекарство.

Лицо у него сразу покраснело, а из глаз потекли слезы. Напиток был похож на азотную кислоту; мало того: после глот-

ка ощущение было такое, будто тебя огрели по спине резиновой дубинкой. Но вскоре жжение в желудке утихло, а мир стал выглядеть веселее. Он вытянул сигарету из мятой пачки с надписью «Сигареты Победа», по рассеянности держа ее вертикально, в результате весь табак из сигареты высыпался на пол. Со следующей Уинстон обошелся аккуратнее. Он вернулся в комнату и сел за столик слева от телекрана. Из ящика стола он вынул ручку, пузырек с чернилами и толстую книгу для записей с красным корешком и переплетом под мрамор.

По неизвестной причине телекран в комнате был установлен не так, как принято. Он помещался не в торцовой стене, откуда мог бы обозревать всю комнату, а в длинной, напротив окна. Сбоку от него была неглубокая ниша, предназначенная, вероятно, для книжных полок, – там и сидел сейчас Уинстон. Сев в ней поглубже, он оказывался недостижимым для телекрана, вернее, невидимым. Подслушивать его, конечно, могли, но наблюдать, пока он сидел там, – нет. Эта несколько необычная планировка комнаты, возможно, и натолкнула его на мысль заняться тем, чем он намерен был сейчас заняться.

Но кроме того, натолкнула книга в мраморном переплете. Книга была удивительно красива. Гладкая кремовая бумага чуть пожелтела от старости – такой бумаги не выпускали уже лет сорок, а то и больше. Уинстон подозревал, что книга еще древнее. Он заметил ее в витрине старьевщика в тру-

щобном районе (где именно, он уже забыл) и загорелся желанием купить. Членам партии не полагалось ходить в обыкновенные магазины (это называлось «приобретать товары на свободном рынке»), но запретом часто пренебрегали: множество вещей, таких, как шнурки и бритвенные лезвия, раздобыть иным способом было невозможно. Уинстон быстро оглянулся по сторонам, нырнул в лавку и купил книгу за два доллара пятьдесят. Зачем – он сам еще не знал. Он воровато принес ее домой в портфеле. Даже пустая, она компрометировала владельца.

Намеревался же он теперь – начать дневник. Это не было противозаконным поступком (противозаконного вообще ничего не существовало, поскольку не существовало больше самих законов), но, если дневник обнаружат, Уинстона ожидает смерть или в лучшем случае двадцать пять лет каторжного лагеря. Уинстон вставил в ручку перо и облизнул, чтобы снять смазку. Ручка была архаическим инструментом, ими даже расписывались редко, и Уинстон раздобыл свою тайком и не без труда: эта красивая кремовая бумага, казалось ему, заслуживает того, чтобы по ней писали настоящими чернилами, а не корябали чернильным карандашом. Вообще-то он не привык писать рукой. Кроме самых коротких заметок, он все диктовал в речепис, но тут диктовка, понятно, не годилась. Он обмакнул перо и замешкался. У него схватило живот. Коснуться пером бумаги – бесповоротный шаг. Мелкими корявыми буквами он вывел:

4 апреля 1984 года

И откинулся. Им овладело чувство полной беспомощности. Прежде всего он не знал, правда ли, что год – 1984-й. Около этого – несомненно: он был почти уверен, что ему 39 лет, а родился он в 1944-м или 45-м; но теперь невозможно установить никакую дату точнее, чем с ошибкой в год или два.

А для кого, вдруг озадачился он, пишется этот дневник? Для будущего, для тех, кто еще не родился. Мысль его покружила над сомнительной датой, записанной на листе, и вдруг наткнулась на новоязовское слово *двоемыслие*. И впервые ему стал виден весь масштаб его затеи. С будущим как общаться? Это по самой сути невозможно. Либо завтра будет похоже на сегодня и тогда не станет его слушать, либо оно будет другим, и невзгоды Уинстона ничего ему не скажут.

Уинстон сидел, бессмысленно уставясь на бумагу. Из телеэкрана ударила резкая военная музыка. Любопытно: он не только потерял способность выражать свои мысли, но даже забыл, что ему хотелось сказать. Сколько недель готовился он к этой минуте, и ему даже в голову не пришло, что потребуется тут не одна храбрость. Только записать – чего проще? Перенести на бумагу нескончаемый тревожный монолог, который звучит у него в голове годы, годы. И вот даже этот монолог иссяк. А язва над щиколоткой зудела невыносимо. Он боялся почесать ногу – от этого всегда начиналось воспаление. Секунды капали. Только белизна бумаги, да зуд над щи-

колоткой, да гремучая музыка, да легкий хмель в голове – вот и все, что воспринимали сейчас его чувства.

И вдруг он начал писать – просто от паники, очень смутно сознавая, что идет из-под пера. Бисерные, но по-детски корявые строки ползли то вверх, то вниз по листу, теряя сперва заглавные буквы, а потом и точки.

4 апреля 1984 года. Вчера в кино. Сплошь военные фильмы. Один очень хороший где-то в Средиземном море бомбят судно с беженцами. Публику забавляют кадры где пробует уплыть громадный толстенный мужчина а его преследует вертолет. сперва мы видим как он по-дельфиньи бултыхается в воде потом видим его с вертолета через прицел потом он весь продырявлен и море вокруг него розовое и сразу тонет словно через дыры набрал воды, когда он пошел на дно зрители загоготали. Потом шлюпка полная детей и над ней вьется вертолет. там на носу сидела женщина средних лет похожая на еврейку а на руках у нее мальчик лет трех. Мальчик кричит от страха и прячет голову у нее на груди как будто хочет в нее ввинтиться а она его успокаивает и прикрывает руками хотя сама посинела от страха, все время старается закрыть его руками полные, как будто может заслонить от пуль. потом вертолет сбросил на них 20 килограммовую бомбу ужасный взрыв и лодка разлетелась в щепки. потом замечательный кадр детская рука летит вверх, вверх прямо в небо наверно ее снимали из стеклянного носа вертолета и

в партийных рядах громко аплодировали но там где сидели пролы какая-то женщина подняла скандал и крик, что этого нельзя показывать при детях куда это годится куда это годится при детях и скандалила пока полицейские не вывели не вывели ее вряд ли ей что-нибудь сделают мало ли что говорят пролы типичная проловская реакция на это никто не обращает...

Уинстон перестал писать, отчасти из-за того, что у него свело руку. Он сам не понимал, почему выплеснул на бумагу этот вздор. Но любопытно, что, пока он водил пером, в памяти у него отстоялось совсем другое происшествие, да так, что хоть сейчас записывай. Ему стало понятно, что из-за этого происшествия он и решил вдруг пойти домой и начать дневник сегодня.

Случилось оно утром в министерстве – если о такой туманности можно сказать «случилась».

Время приближалось к одиннадцати ноль-ноль, и в отделе документации, где работал Уинстон, сотрудники выносили стулья из кабин и расставляли в середине холла перед большим телекраном – собирались на двухминутку ненависти. Уинстон приготовился занять свое место в средних рядах, и тут неожиданно появились еще двое: лица знакомые, но разговаривать с ними ему не приходилось. Девуцу он часто встречал в коридорах. Как ее зовут, он не знал, знал только, что она работает в отделе литературы. Судя по тому, что иногда он видел ее с гаечным ключом и масляными руками, она

обслуживала одну из машин для сочинения романов. Она была веснушчатая, с густыми темными волосами, лет двадцати семи; держалась самоуверенно, двигалась по-спортивному стремительно. Алый кушак – эмблема Молодежного антиполового союза, – туго обернутый несколько раз вокруг талии комбинезона, подчеркивал крутые бедра. Уинстон с первого взгляда невзлюбил ее. И знал за что. От нее веяло духом хоккейных полей, холодных купаний, туристских вылазок и вообще правоверности. Он не любил почти всех женщин, в особенности молодых и хорошеньких. Именно женщины, и молодые в первую очередь, были самыми фанатичными приверженцами партии, глотателями лозунгов, добровольными шпионами и вынюхивателями ереси. А эта казалась ему даже опаснее других. Однажды она повстречалась ему в коридоре, взглянула искоса – будто пронзила взглядом, – и в душу ему вполз черный страх. У него даже мелькнуло подозрение, что она служит в полиции мыслей. Впрочем, это было маловероятно. Тем не менее всякий раз, когда она оказывалась рядом, Уинстон испытывал неловкое чувство, к которому примешивались и враждебность, и страх.

Одновременно с женщиной вошел О’Брайен, член внутренней партии, занимавший настолько высокий и удаленный пост, что Уинстон имел о нем лишь самое смутное представление. Увидев черный комбинезон члена внутренней партии, люди, сидевшие перед телекраном, на миг затихли. О’Брайен был рослый плотный мужчина с толстой

шеей и грубым насмешливым лицом. Несмотря на грозную внешность, он был не лишен обаяния. Он имел привычку поправлять очки на носу, и в этом характерном жесте было что-то до странности обезоруживающее, что-то неуловимо интеллигентное. Дворянин восемнадцатого века, предлагающий свою табакерку, – вот что пришло бы на ум тому, кто еще способен был мыслить такими сравнениями. Лет за десять Уинстон видел О’Брайена, наверно, с десятков раз. Его тянуло к О’Брайену, но не только потому, что озадачивал этот контраст между воспитанностью и телосложением боксера-тяжеловеса. В глубине души Уинстон подозревал – а может быть, не подозревал, а лишь надеялся, – что О’Брайен политически не вполне правоверен. Его лицо наводило на такие мысли. Но опять-таки возможно, что на лице было написано не сомнение в догмах, а просто ум. Так или иначе, он производил впечатление человека, с которым можно поговорить – если остаться с ним наедине и укрыться от телекрана. Уинстон ни разу не попытался проверить эту догадку; да и не в его это было силах. О’Брайен взглянул на свои часы, увидел, что время – почти 11.00, и решил остаться на двухминутку ненависти в отделе документации. Он сел в одном ряду с Уинстоном, за два места от него. Между ними расположилась маленькая рыжеватая женщина, работавшая по соседству с Уинстоном. Темноволосая села прямо за ним.

И вот из большого телекрана в стене вырвался отвратительный вой и скрежет – словно запустили какую-то чудо-

вищную несмазанную машину. От этого звука вставали дыбом волосы и ломило зубы. Ненависть началась.

Как всегда, на экране появился враг народа Эммануэль Голдстейн. Зрители зашикали. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами взвизгнула от страха и омерзения. Голдстейн, отступник и ренегат, когда-то, давным-давно (так давно, что никто уже и не помнил когда), был одним из руководителей партии, почти равным самому Старшему Брату, а потом встал на путь контрреволюции, был приговорен к смертной казни и таинственным образом сбежал, исчез. Программа двухминутки каждый день менялась, но главным действующим лицом в ней всегда был Голдстейн. Первый изменник, главный осквернитель партийной чистоты. Из его теорий произрастали все дальнейшие преступления против партии, все вредительства, предательства, ереси, уклоны. Неведомо где он все еще жил и ковал крамолу: возможно, за морем, под защитой своих иностранных хозяев, а возможно – ходили и такие слухи, – здесь, в Океании, в подполье.

Уинстону стало трудно дышать. Лицо Голдстейна всегда вызывало у него сложное и мучительное чувство. Сухое еврейское лицо в ореоле легких седых волос, козлиная бородка – умное лицо и вместе с тем необъяснимо отталкивающее; и было что-то сенильное в этом длинном хрящеватом носе с очками, съехавшими почти на самый кончик. Он напоминал овцу, и в голосе его слышалось блеяние. Как всегда, Голдстейн злобно обрушился на партийные доктрины;

нападки были настолько вздорными и несуразными, что не обманули бы и ребенка, но при этом не лишены были убедительности, и слушатель невольно опасался, что другие люди, менее трезвые, чем он, могут Голдстейну поверить. Он поносил Старшего Брата, он обличал диктатуру партии. Требовал немедленного мира с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли; он истерически кричал, что революцию предали, – и все скороговоркой, с составными словами, будто пародируя стиль партийных ораторов, даже с новоязовскими словами, причем у него они встречались чаще, чем в речи любого партийца. И все время, дабы не было сомнений в том, что стоит за лицемерными разглагольствованиями Голдстейна, позади его лица на экране маршировали бесконечные евразийские колонны: шеренга за шеренгой кряжистые солдаты с невозмутимыми азиатскими физиономиями выплывали из глубины на поверхность и растворялись, уступая место точно таким же. Глухой мерный топот солдатских сапог сопровождал блеянию Голдстейна.

Ненависть началась каких-нибудь тридцать секунд назад, а половина зрителей уже не могла сдержать яростных восклицаний. Невыносимо было видеть это самодовольное овечьё лицо и за ним – устрашающую мощь евразийских войск; кроме того, при виде Голдстейна и даже при мысли о нем страх и гнев возникали рефлекторно. Ненависть к нему была постояннее, чем к Евразии и Остазии, ибо, когда Океания

воевала с одной из них, с другой она обыкновенно заключала мир. Но вот что удивительно: хотя Голдстейна ненавидели и презирали все, хотя каждый день, по тысяче раз на дню, его учение опровергали, громили, уничтожали, высмеивали как жалкий вздор, влияние его нисколько не убывало. Все время находились новые простофили, только и дожидавшиеся, чтобы он их совратил. Не проходило и дня без того, чтобы полиция мыслей не разоблачала шпионов и вредителей, действовавших по его указке. Он командовал огромной подпольной армией, сетью заговорщиков, стремящихся к свержению строя. Предполагалось, что она называется Братство. Поговаривали шепотом и об ужасной книге, своде всех ересей, – автором ее был Голдстейн, и распространялась она нелегально. Заглавия у книги не было. В разговорах о ней упоминали – если упоминали вообще – просто как о *книге*. Но о таких вещах было известно только по неясным слухам. Член партии по возможности старался не говорить ни о Братстве, ни о *книге*.

Ко второй минуте ненависть перешла в исступление. Люди вскакивали с мест и кричали во все горло, чтобы заглушить непереносимый блеющий голос Голдстейна. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами стала пунцовой и разевала рот, как рыба на суше. Тяжелое лицо О'Брайена тоже побагровело. Он сидел выпрямившись, и его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно в нее бил прибой. Темноволосая девица позади Уинстона закричала: «Подлец! Под-

лец! Подлец!» — а потом схватила тяжелый словарь новояза и запустила им в телекран. Словарь угодил Голдстейну в нос и отлетел. Но голос был неистребим. В какой-то миг просветления Уинстон осознал, что сам кричит вместе с остальными и яростно лягает перекладину стула. Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. Какие-нибудь тридцать секунд — и притворяться тебе уже не надо. Словно от электрического разряда, нападали на все собрание гнусные корчи страха и мстительности, исступленное желание убивать, терзать, крушить лица молотом: люди гримасничали и вопили, превращались в сумасшедших. При этом ярость была абстрактной и ненацеленной, ее можно было повернуть в любую сторону, как пламя паяльной лампы. И вдруг оказывалось, что ненависть Уинстона обращена вовсе не на Голдстейна, а наоборот, на Старшего Брата, на партию, на полицию мыслей; в такие мгновения сердцем он был с этим одиноким осмеянным еретиком, единственным хранителем здравомыслия и правды в мире лжи. А через секунду он был уже заодно с остальными, и правдой ему казалось все, что говорят о Голдстейне. Тогда тайное отвращение к Старшему Брату превращалось в обожание, и Старший Брат возносился над всеми — неуязвимый, бесстрашный защитник, скалою вставший перед евразийскими ордами, а Голдстейн, несмотря на его изгойство и беспомощность, несмотря на сомнения в том, что он вообще еще жив, представлялся зловещим

колдуном, способным одной только силой голоса разрушить здание цивилизации.

А иногда можно было, напрягшись, сознательно обратить свою ненависть на тот или иной предмет. Каким-то бешеным усилием воли, как отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон переключил ненависть с экранного лица на темноволосую девушку позади. В воображении замелькали прекрасные отчетливые картины. Он забыл ее резиновой дубинкой. Голую привяжет к столбу, истычет стрелами, как святого Себастьяна. Изнасилует и в последних судорогах перережет глотку. И яснее, чем прежде, он понял, *за что* ее ненавидит. За то, что молодая, красивая и бесполоя; за то, что он хочет с ней спать и никогда этого не добьется; за то, что на нежной тонкой талии, будто созданной для того, чтобы ее обнимали, – не его рука, а этот алый кушак, воинственный символ непорочности.

Ненависть кончалась в судорогах. Речь Голдстейна превратилась в натуральное блеяние, а его лицо на миг вытеснила овечья морда. Потом морда растворилась в евразийском солдате: огромный и ужасный, он шел на них, паля из автомата, грозя прорвать поверхность экрана, – так что многие отпрянули на своих стульях. Но тут же с облегчением вздохнули: фигуру врага заслонила наплывом голова Старшего Брата, черноволосая, черноусая, полная силы и таинственного спокойствия, – такая огромная, что заняла почти весь экран. Что говорит Старший Брат, никто не расслышал. Все-

го несколько слов ободрения, вроде тех, которые произносит вождь в громе битвы, – сами по себе пускай невнятные, они вселяют уверенность одним тем, что их произнесли. Потом лицо Старшего Брата потускнело, и выступила четкая крупная надпись – три партийных лозунга:

ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – СИЛА

Но еще несколько мгновений лицо Старшего Брата как бы держалось на экране: так ярок был отпечаток, оставленный им в глазу, что не мог стереться сразу. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами навалилась на спинку переднего стула. Всхлипывающим шепотом она произнесла что-то вроде: «Спаситель мой!» – и простерла руки к телекрану. Потом опустила лицо и закрыла ладонями. По-видимому, она молилась.

Тут все собрание принялось медленно, мерно, низкими голосами скандировать: «ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!» – снова и снова, в растяжку, с долгой паузой между «ЭС» и «БЭ», и было в этом тяжелом волнообразном звуке что-то странно первобытное – мерещился за ним топот босых ног и рокот больших барабанов. Продолжалось это с полминуты. Вообще такое нередко происходило в те мгновения, когда чувства достигали особенного накала. Отчасти это был гимн величю и мудрости Старшего Брата, но в большей степени самогипноз – люди топили свой разум в ритмическом шуме.

Уинстон ощутил холод в животе. На двухминутках ненависти он не мог не отдаваться всеобщему безумию, но этот дикарский клич «ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!» всегда внушал ему ужас. Конечно, он скандировал с остальными, иначе было нельзя. Скрывать чувства, владеть лицом, делать то же, что другие, – все это стало инстинктом. Но был такой промежуток секунды в две, когда его вполне могло выдать выражение глаз. Как раз в это время и произошло удивительное событие – если вправду произошло.

Он встретился взглядом с О’Брайеном. О’Брайен уже встал. Он снял очки и сейчас, надев их, поправлял на носу характерным жестом. Но на какую-то долю секунды их взгляды пересеклись, и за это короткое мгновение Уинстон понял – да, понял! – что О’Брайен думает о том же самом. Сигнал нельзя было истолковать иначе. Как будто их умы раскрылись и мысли потекли от одного к другому через глаза. «Я с вами, – будто говорил О’Брайен. – Я отлично знаю, что вы чувствуете. Знаю о вашем презрении, вашей ненависти, вашем отвращении. Не тревожьтесь, я на вашей стороне!» Но этот проблеск ума погас, и лицо у О’Брайена стало таким же непроницаемым, как у остальных.

Вот и все – и Уинстон уже сомневался, было ли это на самом деле. Такие случаи не имели продолжения. Одно только: они поддерживали в нем веру – или надежду, – что есть еще, кроме него, враги у партии. Может быть, слухи о разветвленных заговорах все-таки верны – может быть, Братство

впрямь существует! Ведь, несмотря на бесконечные аресты, признания, казни, не было уверенности, что Братство – не миф. Иной день он верил в это, иной день – нет. Доказательств не было – только взгляды мельком, которые могли означать все, что угодно, и ничего не означать, обрывки чужих разговоров, полустертые надписи в уборных, а однажды, когда при нем встретились двое незнакомых, он заметил легкое движение рук, в котором можно было усмотреть приветствие. Только догадки; весьма возможно, что все это – плод воображения. Он ушел в свою кабину, не взглянув на О’Брайена. О том, чтобы развить мимолетную связь, он и не думал. Даже если бы он знал, как к этому подступиться, такая попытка была бы невообразимо опасной. За секунду они успели обменяться двусмысленным взглядом – вот и все. Но даже это было памятным событием для человека, чья жизнь проходит под замком одиночества.

Уинстон встряхнулся, сел прямо. Он рыгнул. Джин бунтовал в желудке.

Глаза его снова сфокусировались на странице. Оказалось, что, пока он был занят беспомощными размышлениями, рука продолжала писать автоматически. Но не судорожные каракули, как вначале. Перо сладострастно скользило по глянцева-й бумаге, крупными печатными буквами выводило:

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА

раз за разом, и уже исписана была половина страницы.

На него напал панический страх. Бессмысленный, конечно: написать эти слова ничуть не опаснее, чем просто завести дневник; тем не менее у него возникло искушение разорвать испорченные страницы и отказаться от своей затеи совсем.

Но он не сделал этого, он знал, что это бесполезно. Напишет он ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА или не напишет – разницы никакой. Будет продолжать дневник или не будет – разницы никакой. Полиция мыслей так и так до него доберется. Он совершил – и если бы не коснулся бумаги пером, все равно совершил бы – абсолютное преступление, содержащее в себе все остальные. Мыслепреступление – вот как оно называется. Мыслепреступление нельзя скрывать вечно. Изворачиваться какое-то время ты можешь, и даже не один год, но рано или поздно до тебя доберутся.

Бывало это всегда по ночам – арестовывали по ночам. Внезапно будят, грубая рука трясет тебя за плечо, светят в глаза, кровать окружили суровые лица. Как правило, суда не бывало, об аресте нигде не сообщалось. Люди просто исчезали, и всегда – ночью. Твое имя вынуто из списков, все упоминания о том, что ты делал, стерты, факт твоего существования отрицается и будет забыт. Ты отменен, уничтожен: как принято говорить, *распылен*.

На минуту он поддался истерике. Торопливыми кривыми

буквами стал писать:

*меня расстреляют мне все равно пускай выстрелят
в затылок мне все равно долой старшего брата всегда
стреляют в затылок мне все равно долой старшего
брата.*

С легким стыдом он оторвался от стола и положил ручку. И тут же вздрогнул всем телом. Постучали в дверь.

Уже! Он затаился, как мышь, в надежде, что, не достучавшись с первого раза, они уйдут. Но нет, стук повторился. Самое скверное тут – мешкать. Его сердце бухало, как барабан, но лицо от долгой привычки, наверное, осталось невозмутимым. Он встал и с трудом пошел к двери.

II

Уже взявшись за дверную ручку, Уинстон увидел, что дневник остался на столе раскрытым. Весь в надписях ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА, да таких крупных, что можно разглядеть из другого конца комнаты. Непостижимая глупость. Нет, сообразил он, жалко стало пачкать кремовую бумагу, даже в панике не захотел захлопнуть дневник на непросохшей странице.

Он вздохнул и отпер дверь. И сразу по телу прошла теплая волна облегчения. На пороге стояла бесцветная подавленная женщина с жидкими растрепанными волосами и морщинистым лицом.

— Ой, товарищ, — скулящим голосом завела она, — значит, правильно мне слышалось, что вы пришли. Вы не можете зайти посмотреть нашу раковину в кухне? Она засорилась, а...

Это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Партия не вполне одобряла слово «миссис», всех полагалось называть товарищами, но с некоторыми женщинами это почему-то не получалось.) Ей было лет тридцать, но выглядела она гораздо старше. Впечатление было такое, что в морщинах ее лица лежит пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Этой слесарной самодеятельностью он занимался чуть ли не ежедневно. Дом «Победа» был старой постройки, года 1930-

го или около того, и пришел в полный упадок. От стен и потолка постоянно отваливалась штукатурка, трубы лопались при каждом крепком морозе, крыша текла, стоило только выпасть снегу, отопительная система работала на половинном давлении – если ее не выключали совсем из соображений экономии. Для ремонта, которого ты не мог сделать сам, требовалось распоряжение высоких комиссий, а они и с починкой разбитого окна тянули два года.

– Конечно, если бы Том был дома... – неуверенно сказала миссис Парсонс.

Квартира у Парсонсов была больше, чем у него, и убожество ее было другого рода. Все вещи выглядели потрепанными и потоптанными, как будто сюда наведальсь большое и злое животное. По полу были разбросаны спортивные принадлежности – хоккейные клюшки, боксерские перчатки, дырявый футбольный мяч, пропотевшие и вывернутые наизнанку трусы, а на столе вперемешку с грязной посудой валялись тетради. На стенах – алые знамена Молодежного союза и разведчиков и плакат уличных размеров – со Старшим Братом. Как и во всем доме, здесь витал душок вареной капусты, но его перешибал крепкий запах пота, оставленный – это можно было угадать с первой понюшки, хотя и непонятно, по какому признаку, – человеком, в данное время отсутствующим. В другой комнате кто-то на гребенке пытался подыгрывать телекрану, все еще передававшему военную музыку.

– Это дети, – пояснила миссис Парсонс, бросив несколько опасливый взгляд на дверь. – Они сегодня дома. И конечно...

Она часто обрывала фразы на половине. Кухонная раковина была почти до краев полна грязной зеленоватой водой, пахшей еще хуже капусты. Уинстон опустился на колени и осмотрел угольник на трубе. Он терпеть не мог ручного труда и не любил нагибаться – от этого начинался кашель. Миссис Парсонс беспомощно наблюдала.

– Конечно, если бы Том был дома, он бы в два счета прочистил, – сказала она. – Том обожает такую работу. У него золотые руки – у Тома.

Парсонс работал вместе с Уинстоном в министерстве правды. Это был толстый, но деятельный человек, ошеломляюще глупый – сгусток слабоумного энтузиазма, один из тех преданных, невопрошающих работяг, которые подпирали собой партию надежнее, чем полиция мыслей. В возрасте тридцати пяти лет он неохотно покинул ряды Молодежного союза; перед тем же, как поступить туда, он умудрился пробыть в разведчиках на год дольше положенного. В министерстве он занимал мелкую должность, которая не требовала умственных способностей, зато был одним из главных деятелей спортивного комитета и разных других комитетов, отвечавших за организацию туристских вылазок, стихийных демонстраций, кампаний по экономии и прочих добровольных начинаний. Со скромной гордостью он сообщал о себе,

попыхивая трубкой, что за четыре года не пропустил в общественном центре ни единого вечера. Сокрушительный запах пота – как бы нечаянный спутник многотрудной жизни – сопровождал его повсюду и даже оставался после него, когда он уходил.

– У вас есть гаечный ключ? – спросил Уинстон, пробуя гайку на соединении.

– Гаечный? – сказала миссис Парсонс, слабея на глазах. – Правда, не знаю. Может быть, дети...

Раздался топот, еще раз взревела гребенка, и в комнату ворвались дети. Миссис Парсонс принесла ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением извлек из трубы клок волос. Потом как мог отмыл пальцы под холодной струей и перешел в комнату.

– Руки вверх! – гаркнули ему.

Красивый девятилетний мальчик с суровым лицом вынырнул из-за стола, нацелив на него игрушечный автоматический пистолет, а его сестра, года на два младше, нацелилась деревяшкой. Оба были в форме разведчиков – синие трусы, серая рубашка и красный галстук. Уинстон поднял руки, но с неприятным чувством: чересчур уж злобно держался мальчик, игра была не совсем понарошку.

– Ты изменник! – завопил мальчик. – Ты мыслепреступник! Ты евразийский шпион! Я тебя расстреляю, я тебя распылю, я тебя отправлю на соляные шахты!

Они принялись скакать вокруг него, выкрикивая: «Из-

менник!», «Мыслепреступник!» – и девочка подражала каждому движению мальчика. Это немного пугало, как возня тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. В глазах у мальчика была расчетливая жестокость, явное желание ударить или пнуть Уинстона, и он знал, что скоро это будет ему по силам, осталось только чуть-чуть подрасти. Спасибо хоть пистолет не настоящий, подумал Уинстон.

Взгляд миссис Парсонс испуганно метался от Уинстона к детям и обратно. В этой комнате было светлее, и Уинстон с любопытством отметил, что у нее действительно пыль в морщинах.

– Расшумелись, – сказала она. – Огорчились, что нельзя посмотреть на висельников, – вот почему. Мне с ними пойти некогда, а Том еще не вернется с работы.

– Почему нам нельзя посмотреть, как вешают? – оглушительно взревел мальчик.

– Хочу посмотреть, как вешают! Хочу посмотреть, как вешают! – подхватила девочка, прыгая вокруг.

Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в Парке будут вешать евразийских пленных – военных преступников. Это популярное зрелище устраивали примерно раз в месяц. Дети всегда скандалили – требовали, чтобы их повели смотреть. Он отправился к себе. Но не успел пройти по коридору и шести шагов, как затылок его обожгла невыносимая боль. Будто ткнули в шею докрасна раскаленной проволокой. Он повернулся на месте и увидел, как миссис Парсонс утаскивает

мальчика в дверь, а он засовывает в карман рогатку.

– Голдстейн! – заорал мальчик, перед тем как закрылась дверь. Но больше всего Уинстона поразило выражение беспомощного страха на сером лице матери.

Уинстон вернулся к себе, поскорее прошел мимо телекрана и снова сел за стол, все еще потирая затылок. Музыка в телекране смолкла. Отрывистый военный голос с грубым удовольствием стал описывать вооружение новой плавающей крепости, поставленной на якорь между Исландией и Фарерскими островами.

Несчастливая женщина, подумал он, жизнь с такими детьми – это жизнь в постоянном страхе. Через год-другой они станут следить за ней днем и ночью, чтобы поймать на идейной невыдержанности. Теперь почти все дети ужасны. И хуже всего, что при помощи таких организаций, как разведчики, их методически превращают в необузданных маленьких дикарей, причем у них вовсе не возникает желания бунтовать против партийной дисциплины. Наоборот, они обожают партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, знамена, походы, муштра с учебными винтовками, выкрикивание лозунгов, поклонение Старшему Брату – все это для них увлекательная игра. Их натравливают на чужаков, на врагов системы, на иностранцев, изменников, вредителей, мыслепреступников. Стало обычным делом, что тридцатилетние люди боятся своих детей. И не зря: не проходило недели, чтобы в «Таймс» не мелькнула заметка о том, как юный со-

глядатай – «маленький герой», по принятому выражению, – подслушал нехорошую фразу и донес на родителей в полицию мыслей.

Боль от пульки утихла. Уинстон без воодушевления взял ручку, не зная, что еще написать в дневнике. Вдруг он снова начал думать про О'Брайена.

Несколько лет назад... – сколько же? Лет семь, наверное, – ему приснилось, что он идет в крошечной тьме по какой-то комнате. И кто-то сидящий сбоку говорит ему: «Мы встретимся там, где нет темноты». Сказано это было тихо, как бы между прочим – не приказ, просто фраза. Любопытно, что тогда, во сне, большого впечатления эти слова не произвели. Лишь впоследствии, постепенно приобрели они значительность. Он не мог припомнить, было это до или после его первой встречи с О'Брайеном; и когда именно узнал в том голосе голос О'Брайена – тоже не мог припомнить. Так или иначе, голос был опознан. Говорил с ним во тьме О'Брайен.

Уинстон до сих пор не уяснил себе – даже после того, как они переглянулись, не смог уяснить, – друг О'Брайен или враг. Да и не так уж это, казалось, важно. Между ними протянулась ниточка понимания, а это важнее дружеских чувств или соучастия. «Мы встретимся там, где нет темноты», – сказал О'Брайен. Что это значит, Уинстон не понимал, но чувствовал, что каким-то образом это сбудется.

Голос в телекране прервался. Душную комнату наполнил звонкий и красивый звук фанфар. Скрипучий голос продол-

жал:

«Внимание! Внимание! Только что поступила сводка-молния с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали решающую победу. Мне поручено заявить, что в результате этой битвы конец войны может стать делом обозримого будущего. Слушайте сводку».

Жди неприятности, подумал Уинстон. И точно: вслед за кровавым описанием разгрома евразийской армии с умопомрачительными цифрами убитых и взятых в плен последовало объявление о том, что с будущей недели норма отпуска шоколада сокращается с тридцати граммов до двадцати.

Уинстон опять рыгнул. Джин уже выветрился, оставив после себя ощущение упадка. Телекран, то ли празднуя победу, то ли чтобы отвлечь от мыслей об отнятом шоколаде, громыхнул: «Тебе, Океания». Полагалось встать по стойке смирно. Но здесь он был невидим.

«Тебе, Океания» сменилась легкой музыкой. Держась к телекрану спиной, Уинстон подошел к окну. День был все так же холоден и ясен. Где-то вдалеке с глухим раскатистым грохотом разорвалась ракета. Теперь их падало на Лондон по двадцать-тридцать штук в неделю.

Внизу на улице ветер трепал рваный плакат, на нем мелькало слово АНГСОЦ. Ангсоц. Священные устои ангсоца. Новояз, двоемыслие, зыбкость прошлого. У него возникло такое чувство, как будто он бредет по лесу на океанском дне, заблудился в мире чудищ и сам он – чудище. Он был один.

Прошлое умерло, будущее нельзя вообразить. Есть ли какая-нибудь уверенность, что хоть один человек из живых – на его стороне? И как узнать, что владычество партии не будет *вечным*? И ответом встали перед его глазами три лозунга на белом фасаде министерства правды:

ВОЙНА – ЭТО МИР

СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ – СИЛА

Он вынул из кармана двадцатипятицентовую монету. И здесь мелкими четкими буквами те же лозунги, а на оборотной стороне – голова Старшего Брата. Даже с монеты преследовал тебя его взгляд. На монетах, на марках, на книжных обложках, на знаменах, плакатах, на сигаретных пачках – повсюду. Всюду тебя преследуют эти глаза и обволакивает голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, на улице и дома, в ванной, в постели – нет спасения. Нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиментов в черепе.

Солнце ушло, погасив тысячи окон на фасаде министерства, и теперь они глядели угрюмо, как крепостные бойницы. Сердце у него сжалось при виде исполинской пирамиды. Слишком прочна она, ее нельзя взять штурмом. Ее не разрушит и тысяча ракет. Он снова спросил себя, для кого пишет дневник. Для будущего, для прошлого... для века, быть может, просто воображаемого. И ждет его не смерть, а уничтожение. Дневник превратят в пепел, а его – в пыль. Написанное им прочтет только полиция мыслей – чтобы стереть

с лица земли и из памяти. Как обратишься к будущему, если следа твоего и даже безымянного слова на земле не сохранится?

Телекран пробил четырнадцать. Через десять минут ему уходить. В 14.30 он должен быть на службе.

Как ни странно, бой часов словно вернул ему мужество. Одинокий призрак, он возвещает правду, которой никто никогда не расслышит. Но пока он говорит ее, что-то в мире не прервется. Не тем, что заставишь себя услышать, а тем, что остался нормальным, хранишь ты наследие человека. Он вернулся за стол, обмакнул перо и написал:

Будущему или прошлому – времени, когда мысль свободна, люди отличаются друг от друга и живут не в одиночку, времени, где правда есть правда и бывшее не превращается в небыль.

От эпохи одинаковых, эпохи одиноких, от эпохи Старшего Брата, от эпохи двоемыслия – привет!

«Я уже мертв», – подумал он. Ему казалось, что только теперь, вернув себе способность выражать мысли, сделал он бесповоротный шаг. Последствия любого поступка содержатся в самом поступке. Он написал:

*Мыслепреступление не влечет за собой смерть:
мыслепреступление ЕСТЬ смерть.*

Теперь, когда он понял, что он мертвец, важно прожить как можно дольше. Два пальца на правой руке были в чернилах. Вот такая мелочь тебя и выдаст. Какой-нибудь остро-

носый ретивец в министерстве (скорее, женщина – хотя бы та маленькая, с рыжеватыми волосами, или темноволосая из отдела литературы) задумается, почему это он писал в обеденный перерыв, и почему писал старинной ручкой, и *что* писал, а потом сообщит куда следует. Он отправился в ванную и тщательно отмыл пальцы зернистым коричневым мылом, которое скребло, как наждак, и отлично годилось для этой цели.

Дневник он положил в ящик стола. Прячь не прячь – его все равно найдут; но можно хотя бы проверить, узнали о нем или нет. Волос поперек обреза слишком заметен. Кончиком пальца Уинстон подобрал крупинку белесой пыли и положил на угол переплета: если книгу тронут, крупинка свалится.

III

Уинстону снилась мать.

Насколько он помнил, мать исчезла, когда ему было лет десять-одиннадцать. Это была высокая женщина с роскошными светлыми волосами, величавая, неразговорчивая, медлительная в движениях. Отец запомнился ему хуже: темно-волосый, худой, всегда в опрятном темном костюме (почему-то запомнились очень тонкие подошвы его туфель) и в очках. Судя по всему, обоих смела одна из первых больших чисток в 50-е годы.

И вот мать сидела где-то под ним, в глубине, с его сестренкой на руках. Сестру он совсем не помнил – только маленьким хилым грудным ребенком, всегда тихим, с большими внимательными глазами. Обе они смотрели на него снизу. Они находились где-то под землей – то ли на дне колодца, то ли в очень глубокой могиле – и опускались все глубже. Они сидели в салоне тонущего корабля и смотрели на Уинстона сквозь темную воду. В салоне еще был воздух, и они еще видели его, а он – их, но они все погружались, погружались в зеленую воду – еще секунда, и она скроет их навсегда. Он на воздухе и на свету, а их заглатывает пучина, и они там, внизу, *потому что он наверху*. Он понимал это, и они это понимали, и он видел по их лицам, что они понимают. Упрека не было ни на лицах, ни в душах их, а только понимание,

что они должны заплатить своей смертью за его жизнь, ибо такова природа вещей.

Уинстон не мог вспомнить, как это было, но во сне он знал, что жизни матери и сестры принесены в жертву его жизни. Это был один из тех снов, когда в ландшафте, характерном для сновидения, продолжается дневная работа мысли: тебе открываются идеи и факты, которые и по пробуждении остаются новыми и значительными. Уинстона вдруг осенило, что смерть матери почти тридцать лет назад была трагической и горестной в том смысле, какой уже и непонятен ныне. Трагедия, открылось ему, — достояние старых времен, времен, когда еще существовало личное, существовали любовь и дружба, и люди в семье стояли друг за друга, не нуждаясь для этого в доводах. Воспоминание о матери рвало ему сердце, потому что она умерла, любя его, а он был слишком молод и эгоистичен, чтобы любить ответно, и потому, что она каким-то образом — он не помнил каким — принесла себя в жертву идее верности, которая была личной и несокрушимой. Сегодня, понял он, такое не может случиться. Сегодня есть страх, ненависть и боль, но нет достоинства чувств, нет ни глубокого, ни сложного горя. Все это он словно прочел в больших глазах матери, смотревших на него из зеленой воды, с глубины в сотни саженей, и все еще погружавшихся.

Вдруг он очутился на короткой, упругой травке, и был летний вечер, и косые лучи солнца золотили землю. Местность эта так часто появлялась в снах, что он не мог определен-

но решить, видел ее когда-нибудь наяву или нет. Про себя Уинстон называл ее Золотой страной. Это был старый, выщипанный кроликами луг, по нему бежала тропинка, там и сям виднелись кротовые кочки. На дальнем краю ветер чуть шевелил ветки вязов, вставших неровной изгородью, и плотная масса листвы волновалась, как волосы женщины. А где-то рядом, невидимый, лениво тек ручей, и под ветлами в заводях ходила плотва.

Через луг к нему шла та женщина с темными волосами. Одним движением она сорвала с себя одежду и презрительно отбросила прочь. Тело было белое и гладкое, но не вызвало в нем желания; на тело он едва ли даже взглянул. Его восхитил жест, которым она отшвырнула одежду. Изяществом своим и небрежностью он будто уничтожал целую культуру, целую систему: и Старший Брат, и партия, и полиция мыслей были сметены в небытие одним прекрасным взмахом руки. Этот жест тоже принадлежал старому времени. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на устах.

Телекран испускал оглушительный свист, длившийся на одной ноте тридцать секунд. 07.15, сигнал подъема для служащих. Уинстон выдрался из постели – нагишом, потому что члену внешней партии выдавали в год всего на три тысячи одежных талонов, а пижама стоила шестьсот, – и схватил со стула выношенную фуфайку и трусы. Через три минуты физзарядка. А Уинстон согнулся пополам от кашля – кашель почти всегда нападал после сна. Он вытряхивал лег-

кие настолько, что восстановить дыхание Уинстону удалось лишь лежа на спине, после нескольких глубоких вдохов. Жилы у него вздулись от натуги, и варикозная язва начала зудеть.

– Группа от тридцати до сорока! – залаял пронзительный женский голос. – Группа от тридцати до сорока! Займите исходное положение. От тридцати до сорока!

Уинстон встал по стойке смирно перед телекраном: там уже появилась жилистая сравнительно молодая женщина в короткой юбке и гимнастических туфлях.

– Сгибание рук и потягивание! – выкрикнула она. – Делаем по счету. И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре! Веселей, товарищи, больше жизни! И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре!

Боль от кашля не успела вытеснить впечатления сна, а ритм зарядки их как будто оживил. Машинально выбрасывая и сгибая руки с выражением угрюмого удовольствия, как подобало на гимнастике, Уинстон пробивался к смутным воспоминаниям о раннем детстве. Это было крайне трудно. Все, что происходило в пятидесятые годы, выветрилось из головы. Когда не можешь обратиться к посторонним свидетельствам, теряют четкость даже очертания собственной жизни. Ты помнишь великие события, но возможно, что их и не было; помнишь подробности происшествий, но не можешь ощутить его атмосферу; а есть и пустые промежутки, долгие и не отмеченные вообще ничем. Тогда все было дру-

гим. Другими были даже названия стран и контуры их на карте. Взлетная полоса I, например, называлась тогда иначе: она называлась Англией или Британией, а вот Лондон – Уинстон помнил это более или менее твердо – всегда назывался Лондоном.

Уинстон не мог отчетливо припомнить такое время, когда бы страна не воевала; но, по всей видимости, на его детство пришелся довольно продолжительный мирный период, потому что одним из самых ранних воспоминаний был воздушный налет, всех заставший врасплох. Может быть, как раз тогда и сбросили атомную бомбу на Колчестер. Самого налета он не помнил, а помнил только, как отец крепко держал его за руку и они быстро спускались, спускались, спускались куда-то под землю, круг за кругом, по винтовой лестнице, гудевшей под ногами, и он устал от этого, захныкал, и они остановились отдохнуть. Мать шла, как всегда, мечтательно и медленно, далеко отстав от них. Она несла грудную сестренку – а может быть, просто одеяло: Уинстон не был уверен, что к тому времени сестра уже появилась на свет. Наконец они пришли на людное, шумное место – он понял, что это станция метро.

На каменном полу сидели люди, другие теснились на железных нарах. Уинстон с отцом и матерью нашли себе место на полу, а возле них на нарах сидели рядышком старик и старуха. Старик в приличном темном костюме и сдвинутой на затылок черной кепке, совершенно седой; лицо у него бы-

ло багровое, в голубых глазах стояли слезы. От него разило джином. Пахло как будто от всего тела, как будто он потел джином, и можно было вообразить, что слезы его – тоже чистый джин. Пьяненький был старик, но весь его вид выражал неподдельное и нестерпимое горе. Уинстон детским своим умом догадался, что с ним произошла ужасная беда – и ее нельзя простить и нельзя исправить. Он даже понял, какая. У старика убили любимого человека – может быть, маленькую внучку. Каждые две минуты старик повторял:

– Не надо было им верить. Ведь говорил я, мать, говорил? Вот что значит им верить. Я всегда говорил. Нельзя было верить этим стервецам.

Но что это за стервецы, которым нельзя было верить, Уинстон уже не помнил.

С тех пор война продолжалась беспрерывно, хотя, строго говоря, не одна и та же война. Несколько месяцев, опять же в его детские годы, шли беспорядочные уличные бои в самом Лондоне, и кое-что помнилось очень живо. Но проследить историю тех лет, определить, кто с кем и когда сражался, было совершенно невозможно: ни единого письменного документа, ни единого устного слова об иной расстановке сил, чем нынешняя. Нынче, к примеру, в 1984 году (если год – 1984-й), Океания воевала с Евразией и состояла в союзе с Остазией. Ни публично, ни с глазу на глаз никто не упоминал о том, что в прошлом отношения трех держав могли быть другими. Уинстон прекрасно знал, что на самом деле Океа-

ния воюет с Евразией и дружит с Остазией всего четыре года. Но знал украдкой – и только потому, что его памятью не вполне управляли. Официально союзник и враг никогда не менялись. Океания воюет с Евразией; следовательно, Океания всегда воевала с Евразией. Нынешний враг всегда воплощал в себе абсолютное зло, а значит, ни в прошлом, ни в будущем соглашение с ним немыслимо.

Самое ужасное, в сотый, тысячный раз думал он, переламываясь в поясе (сейчас они вращали корпусом, держа руки на бедрах, – считалось полезным для спины), самое ужасное, что все это может оказаться правдой. Если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что *его никогда не было*, – это пострашнее, чем пытка или смерть.

Партия говорит, что Океания никогда не заключала союза с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что Океания была в союзе с Евразией всего четыре года назад. Но где хранится это знание? Только в его уме, а он, так или иначе, скоро будет уничтожен. И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой. «Кто управляет прошлым, – гласит партийный лозунг, – тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». И, однако, прошлое, по природе своей изменяемое, изменению никогда не подвергалось. То, что истинно сейчас, истинно от века и на веки вечные. Все очень про-

сто. Нужна всего-навсего непрерывная цепь побед над собственной памятью. Это называется «покорение действительности»; на новоязе – «двоемыслие».

– Вольно! – рявкнула преподавательница чуть добродушнее.

Уинстон опустил руки и сделал медленный, глубокий вдох. Ум его забрел в лабиринты двоемыслия. Зная, не зная; верить в свою правдивость, излагая обдуманную ложь; держиваться одновременно двух противоположных мнений, понимая, что одно исключает другое, и быть убежденным в обоих; логикой убивать логику; отвергать мораль, провозглашая ее; полагать, что демократия невозможна и что партия – блюститель демократии; забыть то, что требуется забыть, и снова вызвать в памяти, когда это понадобится, и снова немедленно забыть, и, главное, применять этот процесс к самому процессу – вот в чем самая тонкость: сознательно преодолевать сознание и при этом не сознавать, что занимаешься самогипнозом. И даже слово «двоемыслие» не поймешь, не прибегнув к двоемыслию.

Преподавательница велела им снова встать смирно.

– А теперь посмотрим, кто у нас сумеет достать до носков! – с энтузиазмом сказала она. – Прямо с бедер, товарищи. Р-раз-два! Р-раз-два!

Уинстон ненавидел это упражнение: ноги от ягодиц до пяток пронзало болью, и от него нередко начинался припадок кашля. Приятная грусть из его размышлений исчезла. Про-

шное, подумал он, не просто было изменено, оно уничтожено. Ибо как ты можешь установить даже самый очевидный факт, если он не запечатлен нигде, кроме как в твоей памяти? Он попробовал вспомнить, когда услышал впервые о Старшем Брате. Кажется, в 60-х... Но разве теперь вспомнишь? В истории партии Старший Брат, конечно, фигурировал как вождь революции с самых первых ее дней. Подвиги его постепенно отодвигались все дальше в глубь времен и простерлись уже в легендарный мир 40-х и 30-х, когда капиталисты в диковинных шляпах-цилиндрах еще разъезжали по улицам Лондона в больших лакированных автомобилях и конных экипажах со стеклянными боками. Неизвестно, сколько правды в этих сказаниях и сколько вымысла. Уинстон не мог вспомнить даже, когда появилась сама партия. Кажется, слова «ангсоц» он тоже не слышал до 1960 года, хотя возможно, что в старорусской форме – «английский социализм» – оно имело хождение и раньше. Все растворяется в тумане. Впрочем, иногда можно поймать и явную ложь. Неправда, например, что партия изобрела самолет, как утверждают книги по партийной истории. Самолеты он помнил с самого раннего детства. Но доказать ничего нельзя. Никаких свидетельств не бывает. Лишь один раз в жизни держал он в руках неопровержимое документальное доказательство подделки исторического факта. Да и то...

– Смит! – раздался сварливый окрик. – Шестьдесят – семьдесят девять, Смит У.! Да, вы! Глубже наклон! Вы ведь

можете. Вы не стараетесь. Ниже! Так уже лучше, товарищ. А теперь, вся группа, вольно – и следите за мной.

Уинстона прошиб горячий пот. Лицо его оставалось совершенно невозмутимым. Не показать тревоги! Не показать возмущения! Только моргнул глазом – и ты себя выдал. Он наблюдал, как преподавательница вскинула руки над головой и – не сказать, что грациозно, но с завидной четкостью и сноровкой, – нагнувшись, зацепилась пальцами за носки туфель.

– Вот так, товарищи! Покажите мне, что вы можете так же. Посмотрите еще раз. Мне тридцать девять лет, и у меня четверо детей. Прошу смотреть. – Она снова нагнулась. – Видите, у меня колени прямые. Вы все сможете так сделать, если захотите, – добавила она, выпрямившись. – Все, кому нет сорока пяти, способны дотянуться до носков. Нам не выпало чести сражаться на передовой, но по крайней мере мы можем держать себя в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте! И моряков на плавающих крепостях! Подумайте, каково приходится им. А теперь попробуем еще раз. Вот, уже лучше, товарищ, гораздо лучше, – похвалила она Уинстона, когда он с размаху, согнувшись на прямых ногах, сумел достать до носков – первый раз за несколько лет.

IV

С глубоким безотчетным вздохом, которого он, по обыкновению, не сумел сдержать, несмотря на близость телекрана, Уинстон начал свой рабочий день: притянул к себе речепис, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул и соединил скрепкой четыре бумажных рулончика, выскочивших из пневматической трубы справа от стола.

В стенах его кабины было три отверстия. Справа от речеписа – маленькая пневматическая труба для печатных заданий; слева – побольше, для газет; и в боковой стене, только руку протянуть – широкая щель с проволочным забралом. Эта – для ненужных бумаг. Таких щелей в министерстве были тысячи, десятки тысяч – не только в каждой комнате, но и в коридорах на каждом шагу. Почему-то их прозвали гнездами памяти. Если человек хотел избавиться от ненужного документа или просто замечал на полу обрывок бумаги, он механически поднимал забрало ближайшего гнезда и бросал туда бумагу; ее подхватывал поток теплого воздуха и уносил к огромным топкам, спрятанным в утробе здания.

Уинстон просмотрел четыре развернутых листка. На каждом – задание в одну-две строки на телеграфном жаргоне, который не был, по существу, новоязом, но состоял из новоязовских слов и служил в министерстве только для внутреннего употребления. Задания выглядели так:

таймс 17.3.84 речь с. б. превратно африка уточнить
таймс 19.12.83 план 4 квартала 83 опечатки
согласовать сегодняшним номером

таймс 14.2.84 заяв минизо превратно шоколад
уточнить

таймс 3.12.83 минусминус изложен наказ с. б.
упомянуты нелица переписать сквозь наверх до
подшивки.

С тихим удовлетворением Уинстон отодвинул четвертый листок в сторону. Работа тонкая и ответственная, лучше оставить ее напоследок. Остальные три – шаблонные задачи, хотя для второй, наверное, надо будет основательно покопаться в цифрах.

Уинстон набрал на телекране «задние числа» – затребовал старые выпуски «Таймс»; через несколько минут их уже вытолкнула пневматическая труба. На листках были указаны газетные статьи и сообщения, которые по той или иной причине требовалось изменить или, выражаясь официальным языком, уточнить. Например, из сообщения «Таймс» от 17 марта явствовало, что накануне в своей речи Старший Брат предсказал затишье на южноиндийском фронте и скорое наступление войск Евразии в Северной Африке. На самом же деле евразийцы начали наступление в Южной Индии, а в Северной Африке никаких действий не предпринимали. Надо было переписать этот абзац в речи Старшего Брата так, чтобы он предсказал действительный ход собы-

тий. Или, опять же, 19 декабря «Таймс» опубликовала официальный прогноз выпуска различных потребительских товаров на 4-й квартал 1983 года, то есть 6-й квартал девятой трехлетки. В сегодняшнем выпуске напечатаны данные о фактическом производстве, и оказалось, что прогноз был совершенно неверен. Уинстону предстояло уточнить первоначальные цифры, дабы они совпали с сегодняшними. На третьем листке речь шла об очень простой ошибке, которую можно исправить в одну минуту. Не далее как в феврале министерство изобилия обещало (категорически утверждало, по официальному выражению), что в 1984 году норму выдачи шоколада не уменьшат. На самом деле, как было известно и самому Уинстону, в конце нынешней недели норму собирались уменьшить с 30 до 20 граммов. Ему надо было просто заменить старое обещание предуведомлением, что в апреле норму, возможно, придется сократить.

Выполнив первые три задачи, Уинстон скрепил исправленные варианты, вынутые из речеписа, с соответствующими выпусками газеты и отправил в пневматическую трубу. Затем почти бессознательным движением скомкал полученные листки и собственные заметки, сделанные во время работы, и сунул в гнездо памяти для предания их огню.

Что происходило в невидимом лабиринте, к которому вели пневматические трубы, он в точности не знал, имел лишь общее представление. Когда все поправки к данному номеру газеты будут собраны и сверены, номер напечатают заново.

во, старый экземпляр уничтожат и вместо него подошьют исправленный. В этот процесс непрерывного изменения вовлечены не только газеты, но и книги, журналы, брошюры, плакаты, листовки, фильмы, фонограммы, карикатуры, фотографии – все виды литературы и документов, которые могли бы иметь политическое или идеологическое значение. Ежедневно и чуть ли не ежеминутно прошлое подгонялось под настоящее. Поэтому документами можно было подтвердить верность любого предсказания партии; ни единого известия, ни единого мнения, противоречащего нуждам дня, не существовало в записях. Историю, как старый пергамент, выкаблывали начисто и писали заново – столько раз, сколько нужно. И не было никакого способа доказать потом подделку.

В самой большой секции документального отдела – она была гораздо больше той, где трудился Уинстон, – работали люди, чьей единственной задачей было выискивать и собирать все экземпляры газет, книг и других изданий, подлежащих уничтожению и замене. Номер «Таймс», который из-за политических переналадок и ошибочных пророчеств Старшего Брата перепечатывался, быть может, десяток раз, все равно датирован в подшивке прежним числом, и нет в природе ни единого опровергающего экземпляра. Книги тоже переписывались снова и снова и выходили без упоминания о том, что они переиначены. Даже в заказах, получаемых Уинстоном и уничтожаемых сразу после выполнения, не было и намека на то, что требуется подделка: речь шла только

об ошибках, искаженных цитатах, оговорках, опечатках, которые надо устранить в интересах точности.

А в общем, думал он, перекраивая арифметику министерства изобилия, это даже не подлог. Просто замена одного вздора другим. Материал твой по большей части вообще не имеет отношения к действительному миру – даже такого, какое содержит в себе откровенная ложь. Статистика в первоначальном виде – такая же фантазия, как и в исправленном. Чаще всего требуется, чтобы ты высасывал ее из пальца. Например, министерство изобилия предполагало выпустить в 4-м квартале 145 миллионов пар обуви. Сообщают, что реально произведено 62 миллиона. Уинстон же, переписывая прогноз, уменьшил плановую цифру до 57 миллионов – чтобы план, как всегда, оказался перевыполненным. Во всяком случае, 62 миллиона ничуть не ближе к истине, чем 57 миллионов или 145. Весьма вероятно, что обуви вообще не произвели. Еще вероятнее, что никто не знает, сколько ее произвели, и, главное, не желает знать. Известно только одно: каждый квартал на бумаге производят астрономическое количество обуви, между тем как половина населения Океании ходит босиком. То же самое – с любым документированным фактом, крупным и мелким. Все расплывается в призрачном мире, и даже сегодняшнее число едва ли определишь.

Уинстон взглянул на стеклянную кабину по ту сторону коридора. Маленький, аккуратный, с синим подбородком человек по фамилии Тиллотсон усердно трудился там, держа

на коленях сложенную газету и приникнув к микрофону речеписа. Вид у него был такой, будто он хочет, чтобы все сказанное осталось между ними двоими – между ним и речеписом. Он поднял голову, и его очки враждебно сверкнули Уинстону.

Уинстон почти не знал Тиллотсона и не имел представления о том, чем он занимается. Сотрудники отдела документации неохотно говорили о своей работе. В длинном, без окон, коридоре с двумя рядами стеклянных кабин, с нескончаемым шелестом бумаги и гудением голосов, бубнящих в речеписы, было не меньше десятка людей, которых Уинстон не знал даже по имени, хотя они круглый год мелькали перед ним на этаже и махали руками на двухминутках ненависти. Он знал, что низенькая женщина с рыжеватыми волосами, сидящая в соседней кабине, весь день занимается только тем, что выискивает в прессе и убирает фамилии распыленных, а следовательно, никогда не существовавших людей. В определенном смысле занятие как раз для нее: года два назад ее мужа тоже распылили. А за несколько кабин от Уинстона помещалось кроткое, нескладное, рассеянное создание с очень волосатыми ушами; этот человек, по фамилии Амплфорт, удивлявший всех своей сноровкой по части рифм и размеров, изготавливал препарированные варианты – канонические тексты, как их называли, – стихотворений, которые стали идеологически не выдержанными, но по той или иной причине не могли быть исключены из антологий. И весь

этот коридор с полусотней сотрудников был лишь подсекцией – так сказать, клеткой – в сложном организме отдела документации. Дальше, выше, ниже сонмы служащих трудились над невообразимым множеством задач. Тут были огромные типографии со своими редакторами, полиграфистами и отлично оборудованными студиями для фальсификации фотоснимков. Была секция телепрограмм со своими инженерами, режиссерами и целыми труппами артистов, искусно подражающих чужим голосам. Были полки референтов, чья работа сводилась исключительно к тому, чтобы составлять списки книг и периодических изданий, нуждающихся в ревизии. Были необъятные хранилища для подправленных документов и скрытые топки для уничтожения исходных. И где-то, непонятно где, анонимно, существовал руководящий мозг, чертивший политическую линию, в соответствии с которой одну часть прошлого надо было сохранить, другую фальсифицировать, а третью уничтожить без остатка.

Весь отдел документации был лишь ячейкой министерства правды, главной задачей которого была не переделка прошлого, а снабжение жителей Океании газетами, фильмами, учебниками, телепередачами, пьесами, романами – всеми мыслимыми разновидностями информации, развлечений и наставлений, от памятника до лозунга, от лирического стихотворения до биологического трактата, от школьных прописей до словаря новояза. Министерство обеспечивало не только разнообразные нужды партии, но и производило ана-

логичную продукцию – сортом ниже – на потребу пролетариям. Существовала целая система отделов, занимавшихся пролетарской литературой, музыкой, драматургией и развлечениями вообще. Здесь делались низкопробные газеты, не содержавшие ничего, кроме спорта, уголовной хроники и астрологии, забористые пятицентовые повестушки, скабрезные фильмы, чувствительные песенки, сочиняемые чисто механическим способом – на особого рода калейдоскопе, так называемом версификаторе. Был даже специальный подотдел – на новоязе именуемый порносеком, – выпускавший порнографию самого последнего разбора – ее рассылали в запечатанных пакетах, и членам партии, за исключением непосредственных изготовителей, смотреть ее запрещалось.

Пока Уинстон работал, пневматическая труба вытолкнула еще три заказа; но они оказались простыми, и он разделался с ними до того, как пришлось уйти на двухминутку ненависти. После ненависти он вернулся к себе в кабину, снял с полки словарь новояза, отодвинул речепис, протер очки и взялся за главное задание дня.

Самым большим удовольствием в жизни Уинстона была работа. В основном она состояла из скучных и рутинных дел, но иногда попадались такие, что в них можно было уйти с головой, как в математическую задачу, – такие фальсификации, где руководствоваться ты мог только своим знанием принципов ангсоца и своим представлением о том, что же-

лает услышать от тебя партия. С такими задачами Уинстон справлялся хорошо. Ему даже доверяли уточнять передовицы «Таймс», писавшиеся исключительно на новоязе. Он взял отложенный утром четвертый листок:

таймс 3.12.83 минусминус изложен наказ с. б.
упомянуты нелица переписать сквозь наверх до
подшивки.

На староязе (обычном английском) это означало примерно следующее:

В номере «Таймс» от 3 декабря 1983 года крайне неудовлетворительно изложен приказ Старшего Брата по стране; упомянуты несуществующие лица. Перепишите полностью и представьте ваш вариант руководству до того, как отправить в архив.

Уинстон прочел ошибочную статью. Насколько он мог судить, большая часть приказа по стране посвящена была похвалам ПКПП – организации, которая снабжала сигаретами и другими предметами потребления матросов на плавающих крепостях. Особо выделен был некий товарищ Уидерс, крупный деятель внутренней партии – его наградили орденом «За выдающиеся заслуги» 2-й степени.

Тремя месяцами позже ПКПП внезапно была распущена без объявления причин. Судя по всему, Уидерс и его сотрудники теперь не в чести, хотя ни в газетах, ни по телекрану сообщений об этом не было. Тоже ничего удивительного: судить и даже публично разоблачать политически провинив-

шегося не принято. Большие чистки, захватывавшие тысячи людей, с открытыми процессами предателей и мыслепреступников, которые жалко каялись в своих преступлениях, а затем подвергались казни, были особыми спектаклями и происходили раз в несколько лет, не чаще. А обычно люди, вызвавшие неудовольствие партии, просто исчезали, и о них больше никто не слышал. И бесполезно было гадать, что с ними стало. Возможно, что некоторые даже оставались в живых. Так в разное время исчезли человек тридцать знакомых Уинстона, не говоря о его родителях.

Уинстон легонько поглаживал себя по носу скрепкой. В кабине напротив товарищ Тиллотсон по-прежнему таинственно бормотал, прильнув к микрофону. Он поднял голову, опять враждебно сверкнули очки. «Не той же ли задачей занят Тиллотсон?» – подумал Уинстон. Очень может быть. Такую тонкую работу ни за что не доверили бы одному исполнителю; с другой стороны, поручить ее комиссии – значит, открыто признать, что происходит фальсификация. Возможно, не меньше десятка работников трудились сейчас над собственными версиями того, что сказал на самом деле Старший Брат. Потом какой-то начальственный ум во внутренней партии выберет одну версию, отредактирует ее, приведет в действие сложный механизм перекрестных ссылок, после чего избранная ложь будет сдана на постоянное хранение и сделается правдой.

Уинстон не знал, за что попал в немилость Уидерс. Мо-

жет быть, за разложение или за плохую работу. Может быть, Старший Брат решил избавиться от подчиненного, который стал слишком популярен. Может быть, Уидерс или кто-нибудь из его окружения заподозрен в уклоне. А может быть – и вероятнее всего, – случилось это просто потому, что чистки и распыления были необходимой частью государственной механики. Единственный определенный намек содержался в словах «упомянуты нелица» – это означало, что Уидерса уже нет в живых. Даже арест человека не всегда означал смерть. Иногда его выпускали, и до казни он год или два гулял на свободе. А случалось и так, что человек, которого давно считали мертвым, появлялся, словно призрак, на открытом процессе и давал показания против сотни людей, прежде чем исчезнуть – на этот раз окончательно. Но Уидерс уже был *нелицом*. Он не существовал; он никогда не существовал. Уинстон решил, что просто изменить направление речи Старшего Брата мало. Пусть он скажет о чем-то, совершенно не связанном с первоначальной темой.

Уинстон мог превратить речь в типовое разоблачение предателей и мыслепреступников – но это слишком прозрачно, а если изобрести победу на фронте или триумфальное перевыполнение трехлетнего плана, то чересчур усложнится документация. Чистая фантазия – вот что подойдет лучше всего. И вдруг в голове у него возник – можно сказать, готовеньким – образ товарища Огилви, недавно павшего в бою смертью храбрых. Бывали случаи, когда Старший Брат посвящал

«наказ» памяти какого-нибудь скромного рядового партийца, чью жизнь и смерть он приводил как пример для подражания. Сегодня он посвятит речь памяти товарища Огилви. Правда, такого товарища на свете не было, но несколько печатных строк и одна-две поддельные фотографии вызовут его к жизни.

Уинстон на минуту задумался, потом подтянул к себе речепис и начал диктовать в привычном стиле Старшего Брата: стиль этот, военный и одновременно педантический, благодаря постоянному приему – задавать вопросы и тут же на них отвечать («Какие уроки мы извлекаем отсюда, товарищи? Уроки – а они являются также основополагающими принципами ангсоца – состоят в том...» и т. д. и т. п.) – легко поддавался имитации.

В трехлетнем возрасте товарищ Огилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолета. Шести лет – в виде особого исключения – был принят в разведчики; в девять стал командиром отряда. Одиннадцати лет от роду, услышав дядин разговор, уловил в нем преступные идеи и сообщил об этом в полицию мыслей. В семнадцать стал районным руководителем Молодежного антиполового союза. В девятнадцать изобрел гранату, которая была принята на вооружение министерством мира и на первом испытании уничтожила взрывом тридцать одного евразийского военнопленного. Двадцатитрехлетним погиб на войне. Летя над Индийским океаном с важными донесениями, был ата-

кован вражескими истребителями, привязал к телу пулемет, как грузило, выпрыгнул из вертолета и вместе с донесениями и прочим ушел на дно; такой кончине, сказал Старший Брат, можно только завидовать. Старший Брат подчеркнул, что вся жизнь товарища Огилви была отмечена чистотой и целеустремленностью. Товарищ Огилви не пил и не курил, не знал иных развлечений, кроме ежедневной часовой тренировки в гимнастическом зале; считая, что женитьба и семейные заботы несовместимы с круглосуточным служением долгу, он дал обет безбрачия. Он не знал иной темы для разговора, кроме принципов ангсоца, иной цели в жизни, кроме разгрома евразийских полчищ и выявления шпионов, вредителей, мыслепреступников и прочих изменников.

Уинстон подумал, не наградить ли товарища Огилви орденом «За выдающиеся заслуги»; решил все-таки не награждать – это потребовало бы лишних перекрестных ссылок.

Он еще раз взглянул на соперника напротив. Непонятно, почему он догадался, что Тиллотсон занят той же работой. Чью версию примут, узнать было невозможно, но он ощутил твердую уверенность, что версия будет его. Товарищ Огилви, которого и в помине не было час назад, обрел реальность. Уинстону показалось занятным, что создавать можно мертвых, но не живых. Товарищ Огилви никогда не существовал в настоящем, а теперь существует в прошлом – и, едва сотрутся следы подделки, будет существовать так же доподлинно и неопровержимо, как Карл Великий и Юлий Цезарь.

V

В столовой с низким потолком, глубоко под землей, очередь за обедом продвигалась толчками. В зале было полно народу и стоял оглушительный шум. От жаркого за прилавком валил пар с кислым металлическим запахом, но и он не мог заглушить вездесущий душок джина «Победа». В конце зала располагался маленький бар, попросту дыра в стене, где продавали джин по десять центов за шкалик.

– Вот кого я искал, – раздался голос за спиной Уинстона.

Он обернулся. Это был его приятель Сайм, из исследовательского отдела. «Приятель» – пожалуй, не совсем то слово. Приятелей теперь не было, были товарищи; но общество одних товарищей приятнее, чем общество других. Сайм был филолог, специалист по новоязу. Он состоял в громадном научном коллективе, трудившемся над одиннадцатым изданием словаря новояза. Маленький, мельче Уинстона, с темными волосами и большими выпуклыми глазами, скорбными и насмешливыми одновременно, которые будто ощупывали лицо собеседника.

– Хотел спросить, нет ли у вас лезвий, – сказал он.

– Ни одного, – с виноватой поспешностью ответил Уинстон. – По всему городу искал. Нигде нет.

Все спрашивали бритвенные лезвия. На самом-то деле у него еще были в запасе две штуки. Лезвий не стало несколь-

ко месяцев назад. В партийных магазинах вечно исчезал то один обиходный товар, то другой. То пуговицы сгинут, то штопка, то шнурки; а теперь вот – лезвия. Достать их можно было тайком – и то если повезет, – на «свободном» рынке.

– Сам полтора месяца одним бреюсь, – солгал он.

Очередь продвинулась вперед. Остановившись, он снова обернулся к Сайму. Оба взяли по сальному металлическому подносу из стопки.

– Ходили вчера смотреть, как вешают пленных? – спросил Сайм.

– Работал, – безразлично ответил Уинстон. – В кино, наверное, увижу.

– Весьма неравноценная замена, – сказал Сайм.

Его насмешливый взгляд рыскал по лицу Уинстона. «Знаем вас, – говорил этот взгляд. – Насквозь тебя вижу, отлично знаю, почему не пошел смотреть на казнь пленных».

Интеллектуал Сайм был остервенело правовеверен. С неприятным сладострастием он говорил об атаках вертолетов на вражеские деревни, о процессах и признаниях мыслепреступников, о казнях в подвалах министерства любви. В разговорах приходилось отвлекать его от этих тем и наводить – когда удавалось – на проблемы новояза, о которых он рассуждал интересно и со знанием дела. Уинстон чуть отвернул лицо от испытующего взгляда больших черных глаз.

– Красивая получилась казнь, – мечтательно промолвил Сайм. – Когда им связывают ноги, по-моему, это только пор-

тит картину. Люблю, когда они брыкаются. Но лучше всего конец, когда вываливается синий язык... я бы сказал, ярко-синий. Эта деталь мне особенно мила.

– След'щий! – крикнула прола в белом фартуке с половником в руке.

Уинстон и Сайм сунули свои подносы. Обоим выкинули стандартный обед: жестяную миску с розовато-серым жарким, кусок хлеба, кубик сыра, кружку черного кофе «Победа» и одну таблетку сахараина.

– Есть столик вон под тем телекраном, – сказал Сайм. – По дороге возьмем джинну.

Джин им дали в фаянсовых кружках без ручек. Они пробрались через людный зал и разгрузили подносы на металлический столик; на углу его кто-то разлил соус: грязная жижа напоминала рвоту. Уинстон взял свой джин, секунду помешкал, собираясь с духом, и залпом выпил маслянистую жидкость. Потом сморгнул слезы – и вдруг почувствовал, что голоден. Он стал заглатывать жаркое полными ложками; в хлебке попадались розовые рыхлые кубики – возможно, мясной продукт. Оба молчали, пока не опорожнили миски. За столиком сзади и слева от Уинстона кто-то без умолку тараторил – резкая торопливая речь, похожая на утиное кряканье, пробивалась сквозь общий гомон.

– Как подвигается словарь? – Из-за шума Уинстон тоже повысил голос.

– Медленно, – ответил Сайм. – Сижу над прилагательными.

ми. Очарование.

Заговорив о новоязе, Сайм сразу взбодрился. Отодвинул миску, хрупкой рукой взял хлеб, в другую – кубик сыра и, чтобы не кричать, подался к Уинстону.

– Одиннадцатое издание – окончательное издание. Мы придаем языку законченный вид – в этом виде он сохранится, когда ни на чем другом не будут говорить. Когда мы закончим, людям вроде вас придется изучать его сызнова. Вы, вероятно, полагаете, что главная наша работа – придумывать новые слова. Ничуть не бывало. Мы уничтожаем слова – десятками, сотнями ежедневно. Если угодно, оставляем от языка скелет. В две тысячи пятидесятом году ни одно слово, включенное в одиннадцатое издание, не будет устаревшим.

Он жадно откусил хлеб, прожевал и с педантским жаром продолжал речь. Его худое темное лицо оживилось, насмешка в глазах исчезла, и они стали чуть ли не мечтательными.

– Это прекрасно – уничтожать слова. Главный мусор скопился, конечно, в глаголах и прилагательных, но и среди существительных – сотни и сотни лишних. Не только синонимов; есть ведь и антонимы. Ну скажите, для чего нужно слово, которое есть полная противоположность другого? Слово само содержит свою противоположность. Возьмем, например, «голод». Если есть слово «голод», зачем вам «сытость»? «Неголод» ничем не хуже, даже лучше, потому что оно – прямая противоположность, а «сытость» – нет. Или оттенки и степени прилагательных. «Хороший» – для кого хороший?

А «плюсовой» исключает субъективность. Опять же, если вам нужно что-то сильнее «плюсового», какой смысл иметь целый набор расплывчатых, бесполезных слов: «великолепный», «отличный» и так далее? «Плюс плюсовой» охватывает те же значения, а если нужно еще сильнее – «плюс-плюс плюсовой». Конечно, мы и сейчас уже пользуемся этими формами, но в окончательном варианте новояза других просто не останется. В итоге все понятия плохого и хорошего будут описываться только шестью словами – а по сути, двумя. Вы чувствуете, какая стройность, Уинстон? Идея, разумеется, принадлежит Старшему Брату, – спохватившись, добавил он.

При имени Старшего Брата лицо Уинстона вяло изобразило пыл. Сайму его энтузиазм показался неубедительным.

– Вы не цените новояз по достоинству, – заметил он как бы с печалью. – Пишете на нем, а думаете все равно на староязе. Мне попадались ваши материалы в «Таймс». В душе вы верны староязу со всей его расплывчатостью и ненужными оттенками значений. Вам не открылась красота уничтожения слов. Знаете ли вы, что новояз – единственный на свете язык, чей словарь с каждым годом сокращается?

Этого Уинстон, конечно, не знал. Он улыбнулся, насколько мог сочувственно, не решаясь раскрыть рот. Сайм откусил еще от черного ломтя, наскоро прожевал и заговорил снова:

– Неужели вам непонятно, что задача новояза – сузить

горизонты мысли? В конце концов мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным – для него не останется слов. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним-единственным словом, значение слова будет строго определено, а побочные значения упразднены и забыты. В одиннадцатом издании мы уже на подходе к этой цели. Но процесс будет продолжаться и тогда, когда нас с вами не будет на свете. С каждым годом все меньше и меньше слов, все уже и уже границы мысли. Разумеется, и теперь для мыслепреступления нет ни оправданий, ни причин. Это только вопрос самодисциплины, управления реальностью. Но в конце концов и в них нужда отпадет. Революция завершится тогда, когда язык станет совершенным. Новояз – это англсоц, англсоц – это новояз, – проговорил он с какой-то религиозной умиротворенностью. – Приходило ли вам в голову, Уинстон, что к две тысячи пятидесятому году, а то и раньше, на Земле не останется человека, который смог бы понять наш с вами разговор?

– Кроме... – с сомнением начал Уинстон и осекся.

У него чуть не сорвалось с языка: «Кроме пролов», – но он сдержался, не будучи уверен в дозволительности этого замечания. Сайм, однако, угадал его мысль.

– Пролы – не люди, – небрежно парировал он. – К две тысячи пятидесятому году, если не раньше, по-настоящему владеть староязом не будет никто. Вся литература прошлого будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон

останутся только в новоязовском варианте, превращенные не просто в нечто иное, а в собственную противоположность. Даже партийная литература станет иной. Даже лозунги изменятся. Откуда взяться лозунгу «Свобода – это рабство», если упразднено само понятие свободы? *Атмосфера* мышления станет иной. Мышления в нашем современном значении вообще не будет. Правоверный не мыслит – не нуждается в мышлении. Правоверность – состояние бессознательное.

В один прекрасный день, внезапно решил Уинстон, Сайма распылят. Слишком умен. Слишком глубоко смотрит и слишком ясно выражается. Партия таких не любит. Однажды он исчезнет. У него это на лице написано.

Уинстон доел свой хлеб и сыр. Чуть повернулся на стуле, чтобы взять кружку с кофе. За столиком слева немилосердно продолжал свои разглагольствования мужчина со скрипучим голосом. Молодая женщина – возможно, секретарша – внимала ему и радостно соглашалась с каждым словом. Время от времени до Уинстона долетал ее молодой и довольно глупый голос, фразы вроде: «Как это верно!» Мужчина не умолкал ни на мгновение – даже когда говорила она. Уинстон встречал его в министерстве и знал, что он занимает какую-то важную должность в отделе литературы. Это был человек лет тридцати, с мускулистой шеей и большим подвижным ртом. Он слегка откинул голову, и в таком ракурсе Уинстон видел вместо его глаз пустые блики света, отраженного очками. Жутковато делалось оттого, что в хлеставшем изо

рта потоке звуков невозможно было поймать ни одного слова. Только раз Уинстон расслышал обрывок фразы: «полная и окончательная ликвидация голдстейновщины» – обрывок выскочил целиком, как отлитая строка в линотипе. В остальном это был сплошной шум – кря-кря-кря. Речь нельзя было разобрать, но общий характер ее не вызывал никаких сомнений. Метал ли он грома против Голдстейна и требовал более суровых мер против мыслепреступников и вредителей, возмущался ли зверствами евразийской военщины, восхвалял ли Старшего Брата и героев Малабарского фронта – значения не имело. В любом случае каждое его слово было – чистая правоверность, чистый ангсоц. Глядя на хлопавшее ртом безглазое лицо, Уинстон испытывал странное чувство, что перед ним не живой человек, а манекен. Не в человеческом мозгу рождалась эта речь – в гортани. Извержение состояло из слов, но не было речью в подлинном смысле, это был шум, производимый в бессознательном состоянии, утиное кряканье.

Сайм умолк и черенком ложки рисовал в лужице соуса. Кряканье за соседним столом продолжалось с прежней быстротой, легко различимое в общем гуле.

– В новоязе есть слово, – сказал Сайм. – Не знаю, известно ли оно вам: «речекряк» – крякающий по-утиному. Одно из тех интересных слов, у которых два противоположных значения. В применении к противнику это ругательство; в применении к тому, с кем вы согласны, – похвала.

Сайма, несомненно, распылят, снова подумал Уинстон. Подумал с грустью, хотя отлично знал, что Сайм презирает его и не слишком любит и вполне может объявить его мысле-преступником, если увидит для этого основания. Чуть-чуть что-то не так с Саймом. Чего-то ему не хватает: осмотрительности, отстраненности, некой спасительной глупости. Нельзя сказать, что неправововерен. Он верит в принципы ангсоца, чтит Старшего Брата, он радуется победам, ненавидит мыслепреступников не только искренне, но рьяно и неутомимо, причем располагая самыми последними сведениями, ненужными рядовому партийцу. Но всегда от него шел какой-то малопочтенный душок. Он говорил то, о чем говорить не стоило, он прочел слишком много книжек, он навещался в кафе «Под каштаном», которое облюбовали художники и музыканты. Запрета, даже неписаного запрета, на посещение этого кафе не было, но над ним тяготело что-то зловещее. Когда-то там собирались отставные, потерявшие доверие партийные вожди (потом их убрали окончательно). По слухам, бывал там сколько-то лет или десятилетий назад сам Голдстейн. Судьбу Сайма нетрудно было угадать. Но несомненно было и то, что, если бы Сайму открылось, хоть на три секунды, каких взглядов держится Уинстон, Сайм немедленно донес бы на Уинстона в полицию мыслей. Впрочем, как и любой на его месте – но все же Сайм скорее. Правововерность – состояние бессознательное.

Сайм поднял голову.

– Вон идет Парсонс, – сказал он.

В голосе его прозвучало: «несносный дурак». И в самом деле, между столиками пробирался сосед Уинстона по дому «Победа» – невысокий бочкообразных очертаний человек с русыми волосами и лягушачьим лицом. В тридцать пять лет он уже отрастил брюшко и складки жира на загривке, но двигался по-мальчишески легко. Да и выглядел он мальчишечком, только большим: хотя он был одет в форменный комбинезон, все время хотелось представить его себе в синих трусах, серой рубашке и красном галстуке разведчика. Воображению рисовались ямки на коленях и закатанные рукава на пухлых руках. В шорты Парсонс действительно облачался при всяком удобном случае – и в туристских вылазках, и на других мероприятиях, требовавших физической активности. Он приветствовал обоих веселым «Здрасьте, здрастьте!» и сел за стол, обдав их крепким запахом пота. Все лицо его было покрыто росой. Потоотделительные способности у Парсонса были выдающиеся. В клубе всегда можно было угадать, что он поиграл в настольный теннис, по мокрой ручке ракетки. Сайм вытащил полоску бумаги с длинным столбиком слов и принялся читать, держа наготове чернильный карандаш.

– Смотри, даже в обед работает, – сказал Парсонс, толкнув Уинстона в бок. – Увлекается, а? Что у вас там? Не по моим, наверно, мозгам. Смит, знаете, почему я за вами гоняюсь? Вы у меня подписаться забыли.

– На что подписка? – спросил Уинстон, машинально потянувшись к карману. Примерно четверть зарплаты уходила на добровольные подписки, настолько многочисленные, что их и упомянуть было трудно.

– На Неделю ненависти – подписка по месту жительства. Я домовый казначей. Не щадим усилий – в грязь лицом не ударим. Скажу прямо, если наш дом «Победа» не выставит больше всех флагов на улице, так не по моей вине. Вы два доллара обещали.

Уинстон нашел и отдал две мятые замусоленные бумажки, и Парсонс аккуратным почерком малограмотного записал его в блокнотик.

– Между прочим, – сказал он, – я слышал, мой паршивец запулил в вас вчера из рогатки. Я ему задал по первое число. Даже пригрозил: еще раз повторится – отберу рогатку.

– Наверное, расстроился, что его не пустили на казнь, – сказал Уинстон.

– Да, знаете... я что хочу сказать: сразу видно, что воспитан в правильном духе. Озорные паршивцы – что один, что другая, – но увлеченные! Одно на уме: разведчики, ну и война, конечно. Знаете, что дочурка выкинула в прошлое воскресенье? У них поход был в Беркампстед – так она сманила еще двух девчонок, откололись от отряда и до вечера следили за одним человеком. Два часа шли за ним, и всё лесом, – а в Амершеме сдали его патрулю.

– Зачем это? – слегка опешив, спросил Уинстон.

Парсонс победоносно продолжал:

– Дочурка догадалась, что он вражеский агент, на парашюте сброшенный или еще как. Но вот в чем самая штука-то. С чего, вы думаете, она его заподозрила? Туфли на нем чудные – никогда, говорит, не видала на человеке таких туфель. Что, если иностранец? Семь лет пигалице – а смышленная какая, а?

– И что с ним сделали? – спросил Уинстон.

– Ну, уж этого я не знаю. Но не особенно удивлюсь, если... – Парсонс изобразил, будто целится из ружья, и шелкнул языком.

– Отлично, – в рассеянности произнес Сайм, не отрываясь от своего листка.

– Конечно, нам без бдительности нельзя, – послушно согласился Уинстон.

– Война, сами понимаете, – сказал Парсонс.

Как будто в подтверждение его слов телекран у них над головами сыграл фанфару. Но на этот раз была не победа на фронте, а сообщение министерства изобилия.

– Товарищи! – крикнул энергичный молодой голос. – Внимание, товарищи! Замечательные известия! Победа на производственном фронте. Итоговые сводки о производстве всех видов потребительских товаров показывают, что по сравнению с прошлым годом уровень жизни поднялся не менее чем на двадцать процентов. Сегодня утром по всей Океании прокатилась неудержимая волна стихийных демонстра-

ций. Трудящиеся покинули заводы и учреждения и со знаменами прошли по улицам, выражая благодарность Старшему Брату за новую счастливую жизнь под его мудрым руководством. Вот некоторые итоговые показатели. Продовольственные товары...

Слова «наша новая счастливая жизнь» повторились несколько раз. В последнее время их полюбило министерство изобилия. Парсонс, восторгнувшись от фанфары, слушал, приоткрыв рот, торжественно, с выражением впитывающей скуки. За цифрами он уследить не мог, но понимал, что они должны радовать. Он выпростал из кармана громадную вонючую трубку, до половины набитую обуглившимся табаком. При норме табака сто граммов в неделю человек редко позволял себе набить трубку доверху. Уинстон курил сигарету «Победа», стараясь держать ее горизонтально. Новый талон действовал только с завтрашнего дня, а у него осталось всего четыре сигареты. Сейчас он пробовал отключиться от постороннего шума и расслышать то, что изливалось из телекрана. Кажется, были даже демонстрации благодарности Старшему Брату за то, что он увеличил норму шоколада до двадцати граммов в неделю. А ведь только вчера объявили, что норма *уменьшена* до двадцати граммов, подумал Уинстон. Неужели в это поверят – через какие-нибудь сутки? Верят. Парсонс поверил легко, глупое животное. Безглазый за соседним столом – фанатично, со страстью, с иступленным желанием выявить, разоблачить, рас-

пылить всякого, кто скажет, что на прошлой неделе норма была тридцать граммов. Сайм тоже поверил – только затейливее, при помощи двоемыслия. Так что же, у него одного не отшибло память?

Телекран все извергал сказочную статистику. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг, больше новорожденных – всего больше, кроме болезней, преступлений и сумасшествия. С каждым годом, с каждой минутой все и вся стремительно поднимается к новым и новым высотам. Так же как Сайм перед этим, Уинстон взял ложку и стал возить ею в пролитом соусе, придавая длинной лужице правильные очертания. Он с возмущением думал о своем быте, об условиях жизни. Всегда ли она была такой? Всегда ли был такой вкус у еды? Он окинул взглядом столовую. Низкий потолок, набитый зал, грязные от трения бесчисленных тел стены; обшарпанные металлические столы и стулья, стоящие так тесно, что сталкиваешься локтями с соседом; гнутые ложки, щербатые подносы, грубые белые кружки; все поверхности сальные, в каждой трещине грязь; и кисловатый смешанный запах скверного джина, скверного кофе, подливки с медью и заношенной одежды. Всегда ли так неприятно было твоему желудку и коже, всегда ли было это ощущение, что ты обкраден, обделен? Правда, за всю свою жизнь он не мог припомнить ничего существенно ино-

го. Сколько он себя помнил, еды никогда не было вдоволь, никогда не было целых носков и белья, мебель всегда была обшарпанной и шаткой, комнаты – нетопленными, поезда в метро – переполненными, дома – обветшалыми, хлеб – темным, кофе – гнусным, чай – редкостью, сигареты – считанными: ничего дешевого и в достатке, кроме синтетического джина. Конечно, тело старится, и все для него становится не так, но, если тошно тебе от неудобного, грязного, скудного житья, от нескончаемых зим, заскорузлых носков, вечно неисправных лифтов, от ледяной воды, шершавого мыла, от сигареты, распадающейся в пальцах, от странного и мерзкого вкуса пищи, не означает ли это, что такой уклад жизни *ненормален*? Если он кажется непереносимым – неужели это родовая память нашептывает тебе, что когда-то жили иначе?

Он снова окинул взглядом зал. Почти все люди были уродливыми – и будут уродливыми, даже если переоденутся из форменных синих комбинезонов во что-нибудь другое. Вдалеке пил кофе коротенький человек, удивительно похожий на жука, и стрелял по сторонам подозрительными глазками. Если не оглядываешься вокруг, подумал Уинстон, до чего же легко поверить, будто существует и даже преобладает предписанный партией идеальный тип: высокие мускулистые юноши и пышногрудые девы, светловолосые, беззаботные, загорелые, жизнерадостные. На самом же деле, сколько он мог судить, жители Взлетной полосы I в большинстве были мелкие, темные и некрасивые. Любопытно, как размно-

жился в министерствах жукоподобный тип: приземистые, коротконогие, очень рано полнеющие мужчины с суетливыми движениями, толстыми непроницаемыми лицами и маленькими глазами. Этот тип как-то особенно процветал под партийной властью.

Завершив фанфарой сводку из министерства изобилия, телекран заиграл бравурную музыку. Парсонс от бомбардировки цифрами исполнился рассеянного энтузиазма и вынул изо рта трубку.

– Да, хорошо потрудились в нынешнем году министерство изобилия, – промолвил он и с видом знатока кивнул. – Кстати, Смит, у вас, случайно, не найдется свободного лезвия?

– Ни одного, – ответил Уинстон. – Полтора месяца последним бреюсь.

– Ну да... просто решил спросить на всякий случай.

– Не взыщите, – сказал Уинстон.

Кряканье за соседним столом, смолкшее было во время министерского отчета, возобновилось с прежней силой. Уинстон почему-то вспомнил миссис Парсонс, ее жидкие растрепанные волосы, пыль в морщинах. Года через два, если не раньше, детки донесут на нее в полицию мыслей. Ее распылят. Сайма распылят. Его, Уинстона, распылят. О'Брайена распылят. Парсонса же, напротив, никогда не распылят. Безглазого крякающего никогда не распылят. Мелких жукоподобных, шустро снующих по лабиринтам министерств, – их тоже никогда не распылят. И ту девицу из отде-

ла литературы не распылят. Ему казалось, что он инстинктивно чувствует, кто погибнет, а кто сохранится, хотя чем именно обеспечивается сохранность, даже не объяснишь.

Тут его вывело из задумчивости грубое вторжение. Женщина за соседним столиком, слегка поворотившись, смотрела на него. Та самая, с темными волосами. Она смотрела на него искоса, с непонятной пристальностью. И как только они встретились глазами, отвернулась.

Уинстон почувствовал, что по хребту потек пот. Его охватил отвратительный ужас. Ужас почти сразу прошел, но назойливое ощущение неуютности осталось. Почему она за ним наблюдает? Он, к сожалению, не мог вспомнить, сидела она за столом, когда он пришел, или появилась после. Но вчера на двухминутке ненависти она села прямо за ним, хотя никакой надобности в этом не было. Очень вероятно, что она хотела послушать его – проверить, достаточно ли громко он кричит.

Как и в прошлый раз, он подумал: вряд ли она штатный сотрудник полиции мыслей, но ведь добровольный-то шпион и есть самый опасный. Он не знал, давно ли она на него смотрит – может быть, уже пять минут, – а следил ли он сам за своим лицом все это время, неизвестно. Если ты в общественном месте или в поле зрения телекрана и позволил себе задуматься – это опасно, это страшно. Тебя может выдать ничтожная мелочь. Нервный тик, тревога на лице, привычка бормотать себе под нос – все, в чем можно усмот-

реть признак аномалии, попытку что-то скрыть. В любом случае неположенное выражение лица (например, недоверчивое, когда объявляют о победе) – уже наказуемое преступление. На новоязе даже есть слово для него: *лицепреступление*.

Девушка опять сидела к Уинстону спиной. В конце концов, может, она и не следит за ним; может, это просто совпадение, что она два дня подряд оказывается с ним рядом. Сигарета у него потухла, и он осторожно положил ее на край стола. Докурит после работы, если удастся не просыпать табак. Вполне возможно, что женщина за соседним столом – осведомительница, вполне возможно, что в ближайшие три дня он очутится в подвалах министерства любви, но окурочка пропасть не должен. Сайм сложил свою бумажку и спрятал в карман. Парсонс опять заговорил.

– Я вам не рассказывал, как мои сорванцы юбку подожгли на базарной торговке? – начал он, похохатывая и не выпуская изо рта чубук. – За то, что заворачивала колбасу в плакат со Старшим Братом. Подкрались сзади и целым коробком спичек подожгли. Думаю, сильно обгорела. Вот паршивцы, а? Но увлеченные, но бóрзые! Это их в разведчиках так натаскивают – первоклассно, лучше даже, чем в мое время. Как вы думаете, чем их вооружили в последний раз? Слуховыми трубками, чтобы подслушивать через замочную скважину! Дочка принесла вчера домой и проверила на двери в общую комнату – говорит, слышно в два раза лучше, чем

просто ухом! Конечно, я вам скажу, это только игрушка. Но мыслям дает правильное направление, а?

Тут телекран издал пронзительный свист. Это был сигнал приступить к работе. Все трое вскочили, чтобы принять участие в давке перед лифтами, и остатки табака высыпались из сигареты Уинстона.

VI

Уинстон писал в дневнике:

Это было три года назад. Темным вечером, в переулке около большого вокзала. Она стояла у подъезда под уличным фонарем, почти не дававшим света. Молодое лицо было сильно накрашено. Это и привлекло меня – белизна лица, похожего на маску, ярко-красные губы. Партийные женщины никогда не красятся. На улице не было больше никого, не было телекранов. Она сказала: «Два доллара». Я...

Ему стало трудно продолжать. Он закрыл глаза и нажал на веки пальцами, чтобы прогнать неотвязное видение. Ему нестерпимо хотелось выругаться – длинно и во весь голос. Или удариться головой о стену, пинком опрокинуть стол, запустить чернильницей в окно – буйством, шумом, болью, чем угодно заглушить рвущее душу воспоминание.

Твой злейший враг, подумал он, – это твоя нервная система. В любую минуту внутреннее напряжение может выразиться в каком-то видимом симптоме. Он вспомнил прохожего, которого встретил на улице несколько недель назад: ничем не примечательный человек, член партии, лет тридцати пяти или сорока, худой и довольно высокий, с портфелем. Они были в нескольких шагах друг от друга, и вдруг левая сторона лица у прохожего дернулась. Когда они по-

равнялись, это повторилось еще раз: мимолетная судорога, тик, краткий, как щелчок фотографического затвора, но, видимо, привычный. Уинстон тогда подумал: бедняге крышка. Страшно, что человек этого, наверное, не замечал. Но самая ужасная опасность из всех – разговаривать во сне. От этого, казалось Уинстону, ты вообще не можешь предохраниться.

Он перевел дух и стал писать дальше:

Я вошел за ней в подъезд, а оттуда через двор в полуподвальную кухню. У стены стояла кровать, на столе лампа с повернутым фитилем. Женщина...

Раздражение не проходило. Ему хотелось плюнуть. Вспомнив женщину в полуподвальной кухне, он вспомнил Кэтрин, жену. Уинстон был женат – когда-то был, а может, и до сих пор; насколько он знал, жена не умерла. Он будто снова вдохнул тяжелый, спертый воздух кухни, смешанный запах грязного белья, клопов и дешевых духов – гнусных и вместе с тем соблазнительных, потому что пахло не партийной женщиной, партийная не могла надушиться. Душились только пролы. Для Уинстона запах духов был неразрывно связан с блудом.

Это было его первое прегрешение за два года. Иметь дело с проститутками, конечно, запрещалось, но запрет был из тех, которые ты время от времени осмеливаешься нарушить. Опасно – но не смертельно. Попался с проституткой – пять лет лагеря, не больше, если нет отягчающих обстоятельств. И дело не такое уж сложное; лишь бы не застигли за пре-

ступным актом. Бедные кварталы кишели женщинами, готовыми продать себя. А купить иную можно было за бутылку джина: пролам джин не полагался. Негласно партия даже поощряла проституцию – как выпускной клапан для инстинктов, которые все равно нельзя подавить. Сам по себе разврат мало значил, лишь бы был он вороватым и безрадостным, а женщина – из беднейшего и презируемого класса. Непростительное преступление – связь между членами партии. Но, хотя во время больших чисток обвиняемые неизменно признавались и в этом преступлении, вообразить, что такое случается в жизни, было трудно.

Партия стремилась не просто помешать тому, чтобы между мужчинами и женщинами возникали узы, которые не всегда поддаются ее воздействию. Ее подлинной необъявленной целью было лишить половой акт удовольствия. Главным врагом была не столько любовь, сколько эротика – и в браке и вне его.

Все браки между членами партии утверждал особый комитет, и – хотя этот принцип не провозглашали открыто, – если создавалось впечатление, что будущие супруги физически привлекательны друг для друга, им отказывали в разрешении. У брака признавали только одну цель: производить детей для службы государству. Половое сношение следовало рассматривать как маленькую противную процедуру, вроде клизмы. Это тоже никогда не объявляли прямо, но исподволь вколачивали в каждого партийца с детства. Суще-

вали даже организации наподобие Молодежного антиполового союза, проповедовавшие полное целомудрие для обоих полов. Зачатие должно происходить путем искусственного осеменения (*искос* на новоязе) в общественных пунктах. Уинстон знал, что это требование выдвигали не совсем серьезно, но, в общем, оно вписывалось в идеологию партии. Партия стремилась убить половой инстинкт, а раз убить нельзя – то хотя бы извратить и запачкать. Зачем это надо, он не понимал; но и удивляться тут было нечему. Что касается женщин, партия в этом изрядно преуспела.

Он вновь подумал о Кэтрин. Девять... десять... почти одиннадцать лет, как они разошлись. Но до чего редко он о ней думает. Иногда за неделю ни разу не вспомнит, что был женат. Они прожили всего пятнадцать месяцев. Развод партия запретила, но расходиться бездетным не препятствовала, наоборот.

Кэтрин была высокая, очень прямая блондинка, даже грациозная. Четкое, с орлиным профилем лицо ее можно было назвать благородным – пока ты не понял, что за ним настолько ничего нет, насколько это вообще возможно. Уже в самом начале совместной жизни Уинстон решил – впрочем, только потому, быть может, что узнал ее ближе, чем других людей, – что никогда не встречал более глупого, пошлого, пустого создания. Мысли в ее голове все до единой состояли из лозунгов, и не было на свете такой ахиней, которой бы она не склевала с руки у партии. «Ходячий граммофон» – про-

звал он ее про себя. Но он бы выдержал совместную жизнь, если бы не одна вещь – постель.

Стоило только прикоснуться к ней, как она вздрагивала и цепенела. Обнять ее было – все равно что обнять деревянный манекен. И странно: когда она прижимала его к себе, у него было чувство, что она в это же время отталкивает его изо всех сил. Такое впечатление создавали ее окоченелые мышцы. Она лежала с закрытыми глазами, не сопротивляясь и не помогая, а *подчиняясь*. Сперва это приводило его в крайнее замешательство; потом ему стало жутко. Но он все равно бы вытерпел, если бы они условились больше не спать. Как ни удивительно, на это не согласилась Кэтрин. Мы должны, сказала она, если удастся, родить ребенка. Так что занятия продолжались, и вполне регулярно, раз в неделю, если к тому не было препятствий. Она даже напоминала ему по утрам, что им предстоит сегодня вечером, – дабы он не забыл. Для этого у нее было два названия. Одно – «подумать о ребенке», другое – «наш партийный долг» (да, она именно так выражалась). Довольно скоро приближение назначенного дня стало вызывать у него форменный ужас. Но, к счастью, ребенка не получалось, Кэтрин решила прекратить попытки, и вскоре они разошлись.

Уинстон беззвучно вздохнул. Он снова взял ручку и написал:

Женщина бросилась на кровать и сразу, без всяких предисловий, с неопишуемой грубостью и вульгарностью

задрала юбку. Я...

Он увидел себя там, при тусклом свете лампы, и снова ударил в нос запах дешевых духов с клопами, снова стеснилось сердце от возмущения и бессилия, и так же, как в ту минуту, вспомнил он белое тело Кэтрин, навеки окоченевшее под гипнозом партии. Почему всегда должно быть так? Почему у него не может быть своей женщины и удел его – грязные торопливые случки, разделенные годами. Нормальный роман – это что-то почти невыносимое. Все партийные женщины одинаковы. Целомудрие вколочено в них так же крепко, как преданность партии. Продуманной обработкой сызмала, играми и холодными купаниями, вздором, которым их пичкали в школе, в разведчиках, в Молодежном союзе, докладами, парадами, песнями, лозунгами, военной музыкой в них убили естественное чувство. Разум говорил ему, что должны быть исключения, но сердце отказывалось верить. Они все неприступны – партия добилась своего. И еще больше, чем быть любимым, ему хотелось – пусть только раз в жизни – пробить эту стену добродетели. Удачный половой акт – уже восстание. Страсть – мыслепреступление. Растопить Кэтрин – если бы удалось – и то было бы чем-то вроде соращения, хотя она ему жена.

Но надо было дописать до конца. Он написал:

Я прибавил огня в лампе. Когда я увидел ее при свете...

После темноты чахлый огонек керосиновой лампы показался очень ярким. Только теперь он разглядел женщину как следует. Он шагнул к ней и остановился, разрываясь между похотью и ужасом. Он сознавал, чем рискует, придя сюда. Вполне возможно, что при выходе его схватит патруль; может быть, уже сейчас его ждут за дверью. Даже если он уйдет, не сделав того, ради чего пришел!..

Это надо было записать, надо было исповедаться. А увидел он при свете лампы – что женщина *старая*. Румяна лежали на лице таким толстым слоем, что, казалось, треснут сейчас, как картонная маска. В волосах седые пряди; и самая жуткая деталь: рот приоткрылся, а в нем – ничего, черный, как пещера. Ни одного зуба.

Торопливо, валкими буквами он написал:

Когда я увидел ее при свете, она оказалась совсем старой, ей было не меньше пятидесяти. Но я не остановился и довел дело до конца.

Уинстон опять нажал пальцами на веки. Ну вот, он все записал, а ничего не изменилось. Лечение не помогло. Выругаться во весь голос хотелось ничуть не меньше.

VII

Если есть надежда (писал Уинстон), то она в пролах.

Если есть надежда, то больше ей негде быть: только в пролах, в этой клубящейся на государственных задворках массе, которая составляет восемьдесят пять процентов населения Океании, может родиться сила, способная уничтожить партию. Партию нельзя свергнуть изнутри. Ее враги – если у нее есть враги – не могут соединиться, не могут даже узнать друг друга. Даже если существует легендарное Братство – а это не исключено, – нельзя себе представить, чтобы члены его собирались группами больше двух или трех человек. Их бунт – выражение глаз, интонация в голосе; самое большее – словечко, произнесенное шепотом. А пролам, если бы только они могли осознать свою силу, заговоры ни к чему. Им достаточно встать и встряхнуться – как лошадь стряхивает мух. Стоит им захотеть, и завтра утром они разнесут партию в щепки. Рано или поздно они до этого додумаются. Но!..

Он вспомнил, как однажды шел по людной улице, и вдруг из переулка впереди вырвался оглушительный, в тысячу глоток, крик, женский крик. Мощный, грозный вопль гнева и отчаяния, густое «А-а-а-а!», гудящее, как колокол. Сердце у него застучало. Началось! – подумал он. Мятеж! Наконец-то они восстали! Он подошел ближе и увидел толпу: двести или

триста женщин сгрудились перед рыночными ларьками, и лица у них были трагические, как у пассажиров на тонущем пароходе. У него на глазах объединенная отчаянием толпа будто распалась: раздробилась на островки отдельных ссор. По-видимому, один из ларьков торговал кастрюлями. Убогие, утлые жестянки – но кухонную посуду всегда было трудно достать. А сейчас товар неожиданно кончился. Счастливицы, провожаемые толчками и тычками, протискивались прочь со своими кастрюлями, а неудачливые галдели вокруг ларька и обвиняли ларечника в том, что дает по блату, что прячет под прилавком. Раздался новый крик. Две толстухи – одна с распущенными волосами – вцепились в кастрюльку и тянули в разные стороны. Обе дернули, ручка оторвалась. Уинстон наблюдал с отвращением. Однако какая же устрашающая сила прозвучала в крике всего двухсот или трехсот голосов! Ну почему они никогда не крикнут так из-за чего-нибудь стоящего!

Он написал:

Они никогда не взбунтуются, пока не станут сознательными, а сознательными не станут, пока не взбунтуются.

Прямо как из партийного учебника фраза, подумал он. Партия, конечно, утверждала, что освободила пролов от цепей. До революции их страшно угнетали капиталисты, морили голодом и пороли, женщин заставляли работать в шахтах (между прочим, они там работают до сих пор), детей в шесть

лет продавали на фабрики. Но одновременно, в соответствии с принципом двоемыслия, партия учила, что пролы по своей природе низшие существа, их, как животных, надо держать в повиновении, руководствуясь несколькими простыми правилами. В сущности, о пролах знали очень мало. Много и незачем знать. Лишь бы трудились и размножались – а там пусть делают что хотят. Предоставленные сами себе, как скот на равнинах Аргентины, они всегда возвращались к тому образу жизни, который для них естествен, – шли по стопам предков. Они рождаются, растут в грязи, в двенадцать лет начинают работать, переживают короткий период физического расцвета и сексуальности, в двадцать лет женятся, в тридцать уже немолоды, к шестидесяти обычно умирают. Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры – вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно. Среди них всегда вращаются агенты полиции мыслей – выявляют и устраняют тех, кто мог бы стать опасным; но приобщить их к партийной идеологии не стремятся. Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм – чтобы взывать к нему, когда идет речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и овладевает ими недовольство – такое тоже бывало, – это недовольство ни к чему не ведет, ибо из-за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких кон-

кретных неприятностей. Большие беды неизменно ускользали от их внимания. У огромного большинства пролов нет даже телекранов в квартирах. Обычная полиция занимается ими очень мало. В Лондоне существует громадная преступность, целое государство в государстве: воры, бандиты, проститутки, торговцы наркотиками, вымогатели всех мастей; но, поскольку она замыкается в среде пролов, внимания на нее не обращают. Во всех моральных вопросах им позволено следовать обычаям предков. Партийное сексуальное пуританство на пролов не распространялось. За разврат их не преследуют, разводы разрешены. Собственно говоря, и религия была бы разрешена, если бы пролы проявили к ней склонность. Пролы ниже подозрений. Как гласит партийный лозунг: «Пролы и животные свободны».

Уинстон тихонько почесал варикозную язву. Опять начался зуд. Волей-неволей всегда возвращаешься к одному вопросу: какова все-таки была жизнь до революции? Он вынул из стола школьный учебник истории, одолженный у миссис Парсонс, и стал переписывать в дневник.

В прежнее время, до славной Революции, Лондон не был тем прекрасным городом, каким мы его знаем сегодня. Это был темный, грязный, мрачный город, и там почти все жили впроголодь, а сотни и тысячи бедняков ходили разутыми и не имели крыши над головой. Детям, твоим сверстникам, приходилось работать двенадцать часов в день на жестоких хозяев; если они работали медленно, их пороли кнутом, а

кормили их черствыми корками и водой. Но среди этой ужасной нищеты стояли большие красивые дома богачей, которым прислуживало иногда до тридцати слуг. Богачи назывались капиталистами. Это были толстые уродливые люди со злыми лицами – наподобие того, что изображен на следующей странице. Как видишь, на нем длинный черный пиджак, который назывался фраком, и странная шелковая шляпа в форме печной трубы – так называемый цилиндр. Это была форменная одежда капиталистов, и больше никто не смел ее носить. Капиталистам принадлежало все на свете, а остальные люди были их рабами. Им принадлежала вся земля, все дома, все фабрики и все деньги. Того, кто их ослушался, бросали в тюрьму или же выгоняли с работы, чтобы уморить голодом. Когда простой человек разговаривал с капиталистом, он должен был пресмыкаться, кланяться, снимать шапку и называть его «сэр». Самый главный капиталист именовался королем и...

Он знал этот список назубок. Будут епископы с батистовыми рукавами, судьи в мантиях, отороченных горностаем, позорный столб, колодки, топчак, девятихвостая плеть, банкет у лорд-мэра, обычай целовать туфлю у папы. Было еще так называемое право первой ночи, но в детском учебнике оно, наверное, не упомянуто. По этому закону капиталист имел право спать с любой работницей своей фабрики.

Как узнать, сколько тут лжи? Может быть, и вправду средний человек живет сейчас лучше, чем до революции. Един-

ственное свидетельство против – безмолвный протест у тебя в потрохах, инстинктивное ощущение, что условия твоей жизни невыносимы, что некогда они *наверное* были другими. Ему пришло в голову, что самое характерное в нынешней жизни – не жестокость ее и не шаткость, а просто убожество, тусклость, апатия. Оглянешься вокруг – и не увидишь ничего похожего ни на ложь, льющуюся из телекранов, ни на те идеалы, к которым стремится партия. Даже у партийца большая часть жизни проходит вне политики: корпишь на нудной службе, бьешься за место в вагоне метро, штопаешь дырявый носок, клянчишь сахариновую таблетку, заначиваешь окурок. Партийный идеал – это нечто исполинское, грозное, сверкающее: мир стали и бетона, чудовищных машин и жуткого оружия, страна воинов и фанатиков, которые шагают в едином строю, думают одну мысль, кричат один лозунг, неустанно трудятся, сражаются, торжествуют, карают – триста миллионов человек – и все на одно лицо. В жизни же – города-трущобы, где снуют несытые люди в худых башмаках, ветхие дома девятнадцатого века, где всегда пахнет капустой и нужником. Перед ним возникло видение Лондона – громадный город развалин, город миллиона мусорных ящиков, – и на него наложился образ миссис Парсонс, женщины с морщинистым лицом и жидкими волосами, безнадежно ковыряющей засоренную канализационную трубу.

Он опять почесал лодыжку. День и ночь телекраны хлещут тебя по ушам статистикой, доказывают, что у людей се-

годня больше еды, больше одежды, лучше дома, веселее развлечения, что они живут дольше, работают меньше, и сами стали крупнее, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, просвещеннее, чем пятьдесят лет назад. Ни слова тут нельзя доказать и нельзя опровергнуть. Партия, например, утверждает, что грамотны сегодня сорок процентов взрослых пролов, а до революции грамотных было только пятнадцать процентов. Партия утверждает, что детская смертность сегодня – всего сто шестьдесят на тысячу, а до революции была – триста... и так далее. Это что-то вроде одного уравнения с двумя неизвестными. Очень может быть, что буквально каждое слово в исторических книжках – даже те, которые принимаешь как самоочевидные, – чистый вымысел. Кто его знает, может, и не было никогда такого закона, как право первой ночи, или такой твари, как капиталист, или такого головного убора, как цилиндр.

Все расплывается в тумане. Прошлое подчищено, подчистка забыта, ложь стала правдой. Лишь однажды в жизни он располагал – после событий, вот что важно – ясным и недвусмысленным доказательством того, что совершена подделка. Он держал его в руках целых полминуты. Было это, кажется, в 1973 году... словом, в то время, когда он расстался с Кэтрин. Но речь шла о событиях семи- или восьмилетней давности.

Началась эта история в середине шестидесятых годов, в период больших чисток, когда были поголовно истреблены

подлинные вожди революции. К 1970 году в живых не осталось ни одного, кроме Старшего Брата. Всех разоблачили как предателей и контрреволюционеров. Голдстейн сбежал и скрывался неведомо где, кто-то просто исчез, большинство же после шумных процессов, где все признались в своих преступлениях, было казнено. Среди последних, кого постигла эта участь, были трое: Джонс, Аронсон и Резерфорд. Их взяли году в шестьдесят пятом. По обыкновению, они исчезли на год или год с лишним, и никто не знал, живы они или нет; но потом их вдруг извлекли, дабы они, как принято, изобличили себя сами. Они признались в сношениях с врагом (тогда врагом тоже была Евразия), в растрате общественных фондов, в убийстве преданных партийцев, в подкопах под руководство Старшего Брата, которыми они занялись еще задолго до революции, во вредительских актах, стоивших жизни сотням тысяч людей. Признались, были помилованы, восстановлены в партии и получили посты, по названию важные, а по сути – синекуры. Все трое выступили с длинными покаянными статьями в «Таймс», где рассматривали корни своей измены и обещали искупить вину.

После их освобождения Уинстон действительно видел всю троицу в кафе «Под каштаном». Он наблюдал за ними исподтишка, с ужасом, и не мог оторвать глаз. Они были гораздо старше его – реликты древнего мира, наверное, последние крупные фигуры, оставшиеся от ранних героических дней партии. Славный дух подпольной борьбы и граж-

данской войны все еще витал над ними. У него было ощущение – хотя факты и даты уже порядком расплылись, – что их имена он слышал на несколько лет раньше, чем имя Старшего Брата. Но они были вне закона – враги, парии, обреченные исчезнуть в течение ближайшего года или двух. Тем, кто раз побывал в руках у полиции мыслей, уже не было спасения. Они трупы – и только ждут, когда их отправят на кладбище.

За столиками вокруг них не было ни души. Неразумно даже показываться поблизости от таких людей. Они молча сидели за стаканами джина, сдобренного гвоздикой, – фирменным напитком этого кафе. Наибольшее впечатление на Уинстона произвел Резерфорд. Некогда знаменитый карикатурист, он своими злыми рисунками немало способствовал разжиганию общественных страстей в период революции. Его карикатуры и теперь изредка появлялись в «Таймс». Это было всего лишь подражание его прежней манере, на редкость безжизненное и неубедительное. Перепевы старинных тем: трущобы, хижины, голодные дети, уличные бои, капиталисты в цилиндрах – кажется, даже на баррикадах они не желали расставаться с цилиндрами, – бесконечные и безнадежные попытки вернуться в прошлое. Он был громаден и уродлив – грива сальных седых волос, лицо в морщинах и припухлостях, выпяченные губы. Когда-то он, должно быть, отличался неимоверной силой, теперь же его большое тело местами разбухло, обвисло, осело, местами усохло. Он будто

распадался на глазах – осыпающаяся гора.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.